



АНТОНИНА
ЛЕНКОВА



ЭТО БЫЛО
НА
УЛЬЯНОВСКОЙ

Аннотация

Автор повести — журналистка, ветеран Великой Отечественной войны, участница освобождения Ростова в феврале 1943 года. Повесть посвящена детям войны, ребятам с Ульяновской улицы Ростова, которые во время его оккупации помогли взрослым спасти жизнь многим раненым и бежавшим из фашистского плена бойцам Красной Армии, заплатив за это собственными жизнями.

Повесть адресована школьникам среднего возраста.



Антонина Мироновна ЛЕНКОВА



Антонина Мироновна ЛЕНКОВА

Антонина Ленкова

Это было на Ульяновской

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ





Задание редакции было коротким и ясным: зайти в школу — все равно в какую — и написать об учителе.

Я уже работала над другими темами, встречалась с другими людьми, когда увидела на газетной полосе небольшой очерк «Учительница первая моя». И вдруг ощутила какое-то смутное беспокойство. Будто там, в 35-й ростовской школе, прошла мимо чего-то очень важного. Припомнила взволнованный голос молодой учительницы:

— Представляете, рассказываю об Олеге Кошевом, и вдруг поднимает руку Саша Заводнов. «А у меня, — говорит, — дядю фашисты убили». Я не поняла. «Дедушку?» — спрашиваю. Отвечает: «Дедушку тоже. Только его на фронте, а дядю здесь, на Ульяновской улице. Он еще не дядей был, а пионером. В школе учился. В нашей...»

Тогда эти слова скользнули мимо. Наверное, потому, что не имели никакого отношения к героине моего будущего очерка, которую я ожидала, сидя в учительской. Но как можно было не

обратить на них внимания? Не увидеться с Сашей. Впрочем, что мешает мне встретиться с ним сейчас?

Саша оказался серьезным мальчуганом с короткой стрижкой и большими строгими глазами.

— Вы лучше зайдите к нам, — сказал он. — Мама и бабушка все вам расскажут. И про дядю Колю, и про других ребят.

Договорились, что я приду в воскресенье, когда вся семья будет в сборе. Адрес: Ульяновская, 32. Во дворе надо повернуть направо и пройти за беседку.

Потом я бывала там много раз. В соседних домах тоже. И в том дворе, где фашисты расстреливали людей, и в других, где рискуя жизнью, жители Ульяновской улицы прятали тех, кому удавалось бежать из плена. Но тот первый разговор был самым трудным. Все, что было пережито здесь когда-то Марией Ивановной Кизим, Сашиной бабушкой, и его мамой, тогда еще совсем девочкой, Валентиной Антоновной Кизим, вдруг вернулось. С теми же горькими слезами, с той же непроходящей скорбью.

— Подай-ка, дочка, фотографию. Вот они, деточки наши золотые. На вокзале это. Колюшку пришли встречать. Вот он с рюкзаком стоит, в панаме. Из пионерского лагеря приехал. Рядом Валя — узнаёте? Нарядила ее в украинский костюм, любимый. Цветов нарвала — их у нас под окном всегда много. Хотела Толика принарядить — куда там! «Я, — говорит, — что, девчонка?..» А это Нина Нейгоф с братишкой, с Игорьком. Из всех только Валечка и осталась...

Мария Ивановна пыталась унять слезы, но они лились и лились. И тогда она просто перестала обращать на них внимание. Говорила, всхлипывая:

— Коля, когда с моря приехал, заявил: капитаном буду. А дочка все подпрыгивала — солнышко достать хотела... Потом стала бояться неба...

— Как бомбежка — так убитые и покалеченные. Забоишься на всю жизнь, — вздохнув, вступила в разговор Валентина Антоновна. — Одной из первых бомб разнесло дом, где Коля Крамаренко жил. Одним ударом троих осиротило... Он сейчас в Краснодаре живет.

— Фашисты гранаты в дома бросали, — вспомнила Мария Ивановна. — Футляр на швейной машинке — видите? — осколком прорезало. У Анны Ивановны притолоку разнесло; сколько раз ей предлагали починить — не соглашается. А уж кому-кому, а ей она каждый день перед глазами совсем ни к чему. На сердце и так шрамов столько, что месяцами в постели. А тут эта притолока... Как на нее взглянет — так в слезы. Если б не дочка, Лилька, Валина ровесница, тогда бы еще руки на себя наложила. Да и мне выжить Валюха моя помогла. Ольге Федоровне да Надежде, сестре моей, трудней было — никого у них не осталось.

— А встретиться с ними можно?

Мария Ивановна вопросительно взглянула на дочь, та — на своего мужа. Сергей Захарович Заводнов, до сих пор сидевший молча, вдруг поднялся, подошел к этажерке и, порывшись, достал блокнот.

— Я тут начал про все это писать, — проговорил он смущенно, — да понял, что не мое это дело. Возьмите, может, что пригодится. Ну а насчет встреч... С Надеждой Ивановной лучше не надо: сердце у нее больное. Про Сашу мы вам все сами расскажем. Такой был парень... Я в его честь сына Александром назвал. А с Ольгой Федоровной познакомьтесь обязательно. Только... не знаю, как сказать... она редко перед кем душу раскрывает, понимаете? Попытался тут к ней один корреспондент прийти — в дом не пустила, разговаривать не стала и нам запретила. Не понравилось ей, как он про Альфу Ширази написал — она вместе с Ниной погибла, — побоялась, наверно, что и про Нину так же напишет.

Не сразу решилась я постучать в квартиру Нейгоф. Дверь открыла статная, красивая женщина, молча кивнула в ответ на мое «здравствуйте, Ольга Федоровна». Пропуская в комнату с пришторенными окнами, предупредила:

— Не споткнитесь, тут ямка в полу. Игорек прожег... Не подумайте только, что он был озорником...

Рассказы о войне люди, будто сговорившись, начинали с воспоминаний о своей довоенной жизни, о воскресном дне 22 июня...

* * *

Был он таким ярким, что девочка, вышедшая из длинного приземистого дома, ахнула и вскинула ладошки к солнцу. Ей захотелось поймать золотой мяч и хоть чуточку подержать его в руках. Но он только брызнул в ответ горячими искрами и поднялся еще выше: попробуй достань!

Было тихо. Даже из большого кирпичного дома, построенного в глубине двора на месте разрушенной церкви и приспособленного под ясли, не доносилось ни звука: воскресенье — выходной день и для больших и для маленьких.

Валя заглянула в увитую виноградом беседку, мимо буйно разросшихся голардий выбежала на улицу. И замерла, замороженная причудливой игрой скользящих по асфальту теней. Появившаяся из соседнего двора девушка неслышно подошла к девочке, обняла ее:

— Нина, — тихо обрадовалась Валя. — Ты уже сдала свои экзамены? Перешла в десятый?

— Сдала, перешла. Теперь и у меня каникулы!

— Нин, а ты, когда десятый кончишь, на кого пойдешь учиться?

— А на кого ты посоветуешь? — улыбнулась девушка.

— Давай на учительницу, а? У тебя здорово получается. Я вот в школе ничегошеньки не соображаю, а ты объяснишь — и все понятно! Почему так?

— Наверное, ты на уроках плохо слушаешь.

— Ага! Послушаешь, когда мальчишки сзади за волосы дергают. Ужас какие фалюганы!

— А ты не знаешь, Валюша, где мальчишки? Где Игорек?

— Купаться, небось, побежали. Им ведь все можно. Это мне мама приказала: «Никуда! Доживешь до седьмого класса, как Коля, тогда хоть на все четыре стороны». А знаешь, сколько еще ждать? Пять лет... Только к тете Наде и разрешает, она ведь близко — у «Буревестника» мороженое продает.

— Ну так беги, а то сегодня жарко, раскупят у твоей тети все мороженое, будешь потом слезки лить...

— Не раскупят, у нее ящик знаешь какой здоровый? — Валя широко раскинула руки, чтобы показать, какой величины ящик, и вдруг спохватилась: может, Нина шутит?

Но девушка не улыбалась. Что-то не по себе было ей с этот ясный, летний день. Долгим взглядом проводила она девочку, с непонятной тревогой обернулась на звук шагов, кивнула в ответ на тихое «здравствуй, Нина».

Это был Саша Дьячков. Жил он на Береговой, но родной своей улицей считал Ульяновскую: по ней проходил его путь в школу, здесь жили его друзья и двоюродные братишки Коля и Толик Кизимы. И эта девушка, светловолосая, голубоглазая, глядя на которую Саша всегда удивлялся: строгая, не улыбкавая, а подойдешь — на душе почему-то спокойно становится, хорошо.

Саша и Нина были почти ровесниками, но девушка обогнала его на целых три класса: Ольга Федоровна научила дочку читать и писать, когда ей было шесть лет, поэтому в школу ее приняли не в восемь лет, как положено, а в семь, и не в пригготовительный класс, а сразу в первый. Саша же мало того что пошел на год позже да год был пригготовишкой, так еще и

болел. Малярия привязалась. До чего противная болезнь, сказать невозможно. Как начнет трясти, хоть сто одеял набрасывай, все без толку. Кажется, замерзнешь до смерти, а температура — сорок. Раз даже сорок один была. Мать перепугалась, за сестрой своей на Ульяновскую побежала. Пока суетились вокруг да плакали, приступ прошел. А через два дня снова. Так целый год и пропал. Акрихину наглотался — до сих пор во рту горько. Но еще горше, что одноклассники его обогнали, пришлось с Яшкой Загребельным за одну парту садиться. А ведь он, Саша, совсем взрослый — семнадцать скоро.

Больше всего на свете он любит книги. Нина тоже много читает. Но вот разговора с ней — даже о книгах — не получается. Не зря, видно, тетя Маша подшучивает: «Несмелый ты какой-то, — говорит, — не в нашу породу пошел...»

Он украдкой посмотрел на девушку, и ему показалось, что пробившийся сквозь густую листву золотой солнечный луч запутался в ее светлых волосах и никак не может оттуда выбраться. Или не хочет?.. Саша улыбнулся этой своей мысли. И тут услышал голос девушки:

— Ты купаться? Увидишь Игорька, скажи, чтобы шел домой.

— Хорошо, — вздохнул он и нехотя пошел дальше.

Теперь улыбнулась Нина: какой-то он странный, этот Саша. Никогда не пройдет, чтобы не остановиться. Вот и приходится придумывать всякие задания, как сейчас, например.

Дом, где живет Нина Нейгоф с отцом, матерью и 13-летним братишкой Игорьком, угловой; пересекающий здесь улицу проспект имени Семашко спускается прямо к Дону. Летом мальчишки, едва проснувшись, мчатся к берегу в одних трусах. Перепрыгнув через кучи щебня, ящики, бочки, бултыхаются в воду здесь же, в гавани. Грузчики их не ругают: Дон большой, всем воды хватит — и детям и пароходам. Разве что, увидев

среди мальчишек Колю, прикрикнет на сына Антон Никанорович Кизим, да и то больше для порядка.

Домой ребята приходят мокрые, веселые и такие голодные! Не успеют очистить тарелку — добавку спрашивают.

— Будет, будет вам добавка, — смеются матери. — Кушайте на здоровье да растите поскорей.

А куда торопиться? Пусть себе растут, как им хочется. Пусть бегают по родной своей улице, сколько им вздумается. Машины здесь ходят редко, даже трава проросла между булыжниками мостовой. Не верится, что всего в двух кварталах, если пройти по тому же проспекту не к Дону, а наверх, самый большой в Ростове базар, а за ним — огромный, шумный город. Да и сама Ульяновская зажата между двумя большими проспектами — Ворошиловским и Буденновским — и в ней всего четыре квартала. Зато Буденновский, если бы не Дон, протянулся бы, наверное, до самого Кавказа. Всем, кому ехать на море или, к примеру, на городской пляж, не миновать Буденновского.

Хорошие люди живут на Ульяновской — простые, работающие. Знают друг друга по многу лет, помогают в беде. Ну а если случается что по-соседски, идут в дом Кизимов:

— Рассуди нас, Ивановна, ты у нас самая справедливая.

Наверное, за эту самую справедливость да за то, что в ночь-полночь готова была Мария Ивановна помчаться на помощь человеку, назначил ее управляющей домами квартальной уполномоченной. Она приняла эту общественную должность как знак уважения и великого доверия. Старалась, чтобы все было по совести, чтобы всем было хорошо.

Антон Никанорович, глядя на вечно хлопчущую о чем-то и о ком-то жену, только головой покачивал: своих детей бросает — лишь бы чужие были присмотрены.

Мария Ивановна и впрямь могла пропадать по целым дням, если случалась у кого беда. Детей своих она считала самостоятельными, понимающими, что можно, что нет. А муж,

если она запаздывала с обедом, долго не сердился. Да и можно ли сердиться, когда человек прямо разрывается у примуса, чтоб скорее тебя накормить, да еще и приговаривает:

— Золотой ты у меня человек, Антоша. Что б я без тебя делала? Как жила б одна-одинешенька?..

За такие слова и не то вытерпеть можно!

Иногда брал он в руки баян. И полуподвальная комната наполнялась мелодией украинской песни, напоминавшей Антону Никаноровичу родные места, куда так рвалось его сердце, когда служил он в далекой Осетии. Кто бы мог подумать, что именно там, на одной из владикавказских улиц, встретит он русскую девушку — смуглую, кудрявую, с глазами, похожими на волны Терека, когда он сердится!

— Ты как сюда попала, дивчинонька? Каким ветром тебя занесло в эти края? — Такое искреннее изумление светилось в больших черных глазах Антона, столько теплоты было в них, что бойкая на язык девушка вдруг смутилась. И неожиданно для самой себя поведала приглянувшемуся ей пареньку в ладно пригнанной красноармейской форме нехитрую историю своей жизни.

— Речка есть такая — Хопер. Слышал? Там я и родилась. В станице Урюпинской. Тоже не слышал? А сам-то ты откуда?

— С Украины я, из Лимана. Небось, не знаешь?

Она отрицательно качнула головой и продолжала:

— Жили, как все, — когда густо, когда пусто, ртов-то у отца с матерью аж пятеро было. Я — средняя, старше меня — сестра и брат и младше — сестра и брат. Правда, смешно?

Антон пожал плечами. Ничего смешного он в этом не находил, но девушка смеялась так заразительно, что и он заулыбался. А она уже посерьезнела, продолжала рассказывать:

— Началась война, отца забрали защищать «царя и отечество». Тут мы горюшка хлебнули. Старшей, Наде, больше всех досталось — ей уж тринадцать было, а младшей, Галочке,

годочек всего. Писем от отца долго не было, и вдруг весточка: раненый он, в Ростове лежит, в бараках. Мать у нас была отчаянная, сгребла всех — и в Ростов. Представляешь?

По Антоновой юности тоже прокатилась эта самая война «за царя и отечество», многое мог он себе представить, но чтобы женщина в такую лихую годину могла посадить в повозку пятерых детей, голых и босых, и отправиться неизвестно куда...

— И как же вы — доехали?

— Доехали. И бараки нашли. Это где Ростов уже кончается, а Нахичевань еще не началась. И отца нашли — худой такой, бледный. Увидел нас, даже заплакал от радости. А потом говорит врачам: поправился, выписывайте. Выписали. Повез он нас аж за Дон. Нашли там место, землянку выкопали, жить стали. Бедовали, как все. Одно хорошо — вместе. Да только недолгой была та радость — в девятнадцатом году умер отец...

Серые глаза девушки наполнились слезами, губы дрогнули.

— Ну-ну, не плачь. — Антон вытащил из кармана платок, неумело стал утирать ей слезы. — Этим горю не поможешь. Дальше-то как жили?

— Да так и жили. Мать с горя черная ходила, еле поднялась. Надюшка работать пошла, я газеты продавала. Как красные в город вошли, легче стало. Гаврика в Москву учиться послали. Он у нас самый умный был, даже в гимназию ходил, когда еще в Урюпинске жили. Как выучится — начальником будет.

— Каким начальником? — спросил Антон.

— Обыкновенным. Чтоб Советскую власть защищать. Ему знаешь как повезло: их там кормят... Мы сюда приехали от голода спасаться. — Девушка вдруг заторопилась. — Заболталась я тут с тобой, а у меня еще дел невпроворот.

— Какие ж у тебя дела?

— Всякие. У кого белье постираю, кому огород прополю, кому полы помою. Мало ли работы! Надо только ее не бояться.

Они шли быстро, минуя одну за другой узкие, кривые улочки. Поравнявшись с низким глинобитным домиком, девушка, взмахнув на прощание рукой, исчезла, будто сквозь землю провалилась.

Антон улыбнулся и отправился по своим делам. А на следующий день пришел на знакомую улицу, отыскал убогую хатку, в которой разместилась семья Хованских, и, взглянув на Марию, понял окончательно: не будет ему без нее ни счастья, ни радости. Потому сказал открыто и просто:

— Вот что, Мария, выходи за меня замуж.

И увез ее на Украину.

Приятно было Антону, что понравилась его молодая жена и матери, и братьям. Была она веселой, работающей, его, Антона, почитала и любила. Когда подарила ему сына — вылитую его копию, — готов был на руках ее носить, каждое желание исполнять.

А Марию тянуло в Ростов, куда переехали к тому времени мать, сестры, младший брат Володя и где после гибели на боевом посту другого брата, Гаврика, получила квартиру и его семья.

В Ростов так в Ростов! Собрались Кизимы, поехали. Приспособили под жилье бывшую конюшню, стали себе жить да поживать. Антон радовался, видя, как счастлива Мария, а ей для счастья много не надо: муж у нее хороший, родные — рядышком. Все сыты, одеты, обуты. Дети растут добрыми, послушными. Одного ей хотелось — чтоб другие тоже были счастливыми. Оттого и старалась помочь, если у кого что не ладилось.

— Ты, Колюшка, накорми малых, — приказывала старшему, — а я сбегая Васильевне подмогу. Хворая она...

Коля глядел на мать темными отцовскими глазами и, как он, покачивал головой: когда уж у матери хлопот поубавится?

А она, чмокнув сына в щеку, убежала.

II



Долгие летние дни мальчишки Ульяновской улицы проводили во дворе Кизимов, где стараниями Марии Ивановны и с их помощью была построена беседка. Приходили из соседнего двора Витя Проценко, Яша Загребельный, Игорь Нейгоф. Подсаживался Ваня Зятев, который, хоть и был глухонемым от рождения, понимал все, о чем говорили ребята. Так, во всяком случае, им казалось.

Заглядывал сюда и Коля Петренко. Жил он на этой же улице, только ближе к Буденновскому, а в кизимовскую беседку привел его однажды вездесущий Толик.

— Вы тут о героях рассуждаете, — заявил он мальчишкам, — а не знаете, что на нашей улице тоже герой живет.

— Герой? — удивились ребята.

— Герой. Вот он — Коля Петренко.

— Ну что ты, какой я герой? Я ведь тебе просто так рассказал, а ты... Да вы ему не верьте, ребята!

— А мы и не верим, — откликнулся Яшка.

— А грамоту тебе за что дали? — не унимался Толик. — Там что написано? За поимку важного шпиона!

— Не за поимку, а за помощь в поимке, и не важного, а просто шпиона, — уточнил смутившийся мальчуган.

— А не важных шпионов не бывает, — горячился Толик.

— Погодите, ребята, — остановил их Коля Кизим. — Вы что, всерьез? Ну-ка, тетка, расскажи, как все было.

— Так это дело давнишнее, уже года три прошло, — неохотно начал мальчик и замолк: может, неинтересно, раз так давно?

Но ребята ждали продолжения.

— Мне тогда в санаторий путевку дали, на Черное море. Вот там было здорово! Купались каждый день, в горы ходили! У нас обезьянка жила — все понимала. Как человек. А шкода! Один раз...

— Ты нам про обезьянку в другой раз расскажешь, — перебил его Витя. — Про шпиона давай.

— А какие на Черном море шпионы? — вдруг засомневался Яшка.

— Как — какие? — живо обернулся к нему мальчуган. — Самые обыкновенные. Нас на первой же линейке предупредили: мы живем на границе, и в любой момент с моря может высадиться шпион.

— Это правда, — подтвердил Коля Кизим. — Нас в пионерском лагере тоже предупреждали. Мы даже засады устраивали, но так никого и не поймали.

— Мы тоже не поймали. Только помогли. Да и то нечаянно получилось. Под самый конец смены, когда мы про этих шпионов и думать забыли.

А было так. Подошли к нему, девятилетнему мальчугану Коле Петренко, двое ребят постарше. «Пошли, — говорят, — в пещеру». — «Так спать же после обеда положено», — отвечает

Коля. А они смеются: «Спи, если за месяц не выспался. А мы не дураки — последние дни на сон тратить». — «А если попадет?» — поинтересовался мальчик. «Из санатория выпишут? — засмеялся Коля Приходько. — Вот уж не думал, что ты такой трусишка. А еще ростовчанин! Чего бояться? Все равно через два дня уезжать».

Петренко подумал и согласился.

Ту пещеру, глубокую, сырую, мрачную, ребята обнаружили во время похода в горы. Идти далековато, километра полтора, зато посидеть в ней знойным июльским днем сплошное удовольствие: такая там прохлада. Плохо только, что пробираться к ней надо по узкой тропке через заросли держи-деревя. Приходится идти осторожно, по одному, да еще на расстоянии, чтобы колючей веткой не хлестнуло.

Они были уже почти у входа в пещеру, когда шедший впереди Коля Приходько вдруг замер и, обернувшись, прижал палец к губам: тихо!

Из пещеры доносились странные звуки: «Пи-пи-пи...»
— Морзянка, — шепнул мальчик.

Они сошли с тропы, остановились в кустах. Совещание было коротким, решение единодушным: разыскать пограничников.

Бежали изо всех сил, не обращая внимания на колючки, рвавшие одежду. Выскочив на железнодорожное полотно, остановились: дальше — море. Справа — большой пляж. Если позвать, люди, конечно, кинутся ловить шпиона, но лучше бы найти пограничников. Уж от них-то не уйдет! Ближе санаторий, можно попросить директора, и он позвонит на заставу, но, во-первых, это не так скоро, во-вторых, им влетит за то, что они бегают неизвестно где, нарушают режим. А медлить нельзя — шпион кончит передачу и уйдет. И тут рельсы, на которые присели ребята, чтобы перевести дыхание и подумать, дрогнули. Поезд?

Но это была дрезина. И в ней, к несказанной радости ребят, сидели люди в зеленых фуражках. Пограничный патруль!

Шпион еще не закончил передачу, когда у входа в пещеру раздалось негромкое «руки вверх!».

А на следующий день в санатории была прощальная линейка. Ребята стояли грустные — никому не хотелось уезжать.

Вдруг на аллее показались пограничники.

Один из них подошел к директору санатория, пожал ему руку и повернулся к ребятам.

— Вы молодцы, — сказал он. — Настоящие пионеры. Трое из вас помогли нам поймать шпиона. Мы награждаем их Почетными грамотами...

Понятно, что после такого рассказа Коля стал в кизимовской беседке своим человеком.

* * *

О Коле Петренко рассказала мне Мария Ивановна. И посоветовала обязательно с ним познакомиться. Живет он теперь не на Ульяновской, но соседи, сроднившиеся в годы войны, знают новый адрес Николая Алексеевича.

— Кстати, — сказала Мария Ивановна, — когда будете в этом дворе, зайдите к Александру Семеновичу Пономаренко и к Юлии Афанасьевне Остапенко. Им есть что рассказать. А Яшу Загребельного не разыскали? Тут он где-то, в Ростове. Квартиру с удобствами получил. И Ксения Ивановна еще жива, мать Яши.

Делаю пометки в блокноте: Яков Власович Загребельный. Адресный стол. Найти обязательно.

А Николая Алексеевича Петренко и впрямь удалось разыскать без адресного стола. Юлия Афанасьевна Остапенко сказала, что проводит до самой двери — Коля живет совсем рядом, на улице Баумана.

— Очень он стеснительный, так вы уж его как следует допросите, — наставляла меня Юлия Афанасьевна. — Пусть все расскажет. И как командиров спасал — тоже. Они, эти командиры, после войны уже, в сорок шестом, когда с хлебом туго было, целую машину пшеницы во двор привезли. «Берите, — говорят, — люди, должники мы ваши на всю жизнь... А Колька наш где?» — спрашивают. А Коля стоит на крыльце и улыбается. В глазах слезы. Я ему кричу: «Ведро тащи!» А он ни с места. «Ты чего, — спрашиваю, — ревешь никак?» — «Нет, — говорит, — это я от радости, что они живыми с войны повернулись...»

Николай Алексеевич и впрямь оказался не из разговорчивых, но это когда речь шла о нем. О своих товарищах он мог говорить часами. Хотя Коля Кизим, Яша, Витя были постарше, а Ваня совсем взрослым, они не гнали от себя ни Толика, ни Игорька, ни его, Колю Петренко. Собравшись в беседке, читали вслух. Про остров сокровищ, про путешествие к центру Земли, про благородного капитана Немо. А книгу о Робинзоне Крузо читали дважды, так понравилась. Подумать только — жить одному! Хорошо хоть Пятница человеком оказался.

Любили мальчишки книги Аркадия Гайдара. Особенно «Школу», «РВС», «Военную тайну». А когда «Пионерская правда» начала печатать повесть «Тимур и его команда», с нетерпением ожидали каждый номер.

— Вот это пацан! — восхищался Тимуром Витя.

— А из таких, как Мишка Квакин, получаются люди, вроде нашего Кости, — сурово сдвигал брови Коля Кизим, и его смуглое лицо темнело.

Костя, пьянчужка и хулиган, был уже совсем взрослый парень. Частенько он появлялся на улице нетрезвым, зло ругался последними словами, не стесняясь ни детей, ни женщин, грозился кого-то убить, кому-то отомстить.

— Шалапут, — коротко говорила Мария Ивановна. — Хоть говори ему, хоть нет — не понимает. Я уж замучилась с ним.

— И на что он тебе сдался? — искренне удивлялся Антон Никанорович. — Конченный он человек, пьяница, никакими речами его не проймешь.

— Да как же так! — волновалась Мария Ивановна. — Что ж у него, совести совсем нет?

Колина мама свято верила, что совесть есть у каждого. И сама старалась жить по совести, и детям наказывала. Коле иной раз приходилось с ней поспорить — не во всем соглашался он с матерью, особенно когда речь заходила о попадье. Поп, после того как в их дворе снесли церковь, запил и куда-то запропастился, попадья же так и осталась тут жить, жалуясь на судьбу, одиночество и болячки.

— Она только притворяется хворой, — хмурился мальчуган. — С чего ей болеть? Сроду не работала. И пользы от нее людям никакой.

— Зря ты, Колюшка, — мягко укоряла сына мать. — В трудные времена люди к ним за утешением шли. Голод, холод, разруха, а придет человек в церковь, помолится, слова всякие добрые послушает, ему и полегчает.

— Не больно-то от слов легчает, — не сдавался Коля. — Сама, небось, ей не молитвами помогаешь.

— Это уж кто как может, — уклончиво отвечала мать. И, захватив ведро, бежала к колонке, оттуда к матушкиному крыльцу — полы мыть. Такой уж она была, Колина мама.

Однажды Мария Ивановна привела в дом двух мальчишек лет по шестнадцать.

— Пусть у нас поживут, пока ремесленное кончат. Детдомовские они, отца-матери нету, одиноко им. Нам с Антошей сыночками будут, вам — братьями.

Так в тесном, врытом в землю домике Кизимов появились Степа Сидоркин и Коля Сидоренко, которого тут же

окрестили Колей Беленьким: когда в доме два Коли, надо же что-то придумать...

— В тесноте, да не в обиде, — весело приговаривала Мария Ивановна, освобождая под жильем кладовку.

Муж только посмеивался, зато дети — и Коля, и Толик, и Валечка — радовались от всего сердца. Еще бы — сразу два старших брата. Да еще какие — оба высокие, красивые, веселые!

В их большой дружной семье, пожалуй, только один Толик доставлял много хлопот.

— Что за человек, — вслух удивлялась Валя, — только что в комнате был — и нету! В соседний двор — нет чтоб пробежать по улице — в окно лазит. Мать не велит, а ему хоть кол на голове чеши.

— Не чеши, а теши, — поправлял сестренку Коля и тоже укоризненно покачивал головой: экий неслух, этот малой. Подрастет — такой же озорник будет, как Яшка Загребельный.

Яшка жил рядом, в том самом дворе, где жили Нейгофы и куда, ради экономии времени, лазил в окно Толик. И никакой он, Яшка, не озорник, просто натура у него такая беспокойная. Живого, непоседливого мальчугана можно было увидеть даже на крыше, которая жутко грохотала от одного прикосновения его подбитых железками ботинок.

— Вот супостат, — ворчал сосед Иван Лопатин. — Креста на нем нет. Покою — ни днем, ни ночью...

Про ночь это он зря. Ночью Яшка спал как убитый. И когда брал в руки гитару, тоже затихал. Но по привычке, наверное, соседей раздражали даже мелодичные звуки, если они исходили из-под Яшкиных рук.

Однажды, когда сидел он тихо-мирно, подбирая мелодию любимейшей соседской девчонке песни про ночь над Белградом, обрушился на него поток холодной воды. Добро бы из своих кто окатил, а то ведь и не соседка даже — за два двора

живет. Он ей и не вредил... кажется. Зато теперь сам бог велел. Только с умом надо, чтоб ни-ни. А то совсем житья не станет.

На выдумки Яшка был горазд. Через полчаса, подойдя с самым невинным видом к дому своей обидчицы, он коротким сильным взмахом швырнул в раскрытое окно намазанную скипидаром кошку. Та, высвободившись наконец из сильных Яшкиных рук, намертво сжимавших ей рот и лапы, с диким воплем вцепилась в тюлевую занавеску. Послышался треск, грохот, звон... Пока хозяйка, с криком метнувшаяся из двора в комнату, разбиралась что к чему, озорника и след простыл. Он был уже дома и, сидя за столом, как ни в чем не бывало перебирал учебники.

— Тихий ты какой-то, — подозрительно покосилась на него Ксения Ивановна. — Или натворил что?..

— И почему ты, маманя, так плохо обо мне думаешь?

Улыбка у Яшки была широкая, обезоруживающая. Он подошел к матери, легко коснулся ее плеч сильными ручищами:

— Я вот что думаю: хватит мне в школе штаны протирать, мы с Витькой в ремесленное идем.

— Господи Иисусе, — опустилась на стул Ксения Ивановна, — после шестого-то класса! Да кто ж тебя возьмет, непутевого? Ты и делать-то ничего не умеешь, окромя как из чужого борща мясо таскать!

Тут сел Яшка:

— Мать, откуда ты знаешь? Никто ведь не видел.

— Чего уж тут знать, — проворчала, поджав губы, Ксения Ивановна. — Вспомни, как ты в тот день, как Лопатиха бушевала, обедал — только ложкой гонял.

И верно, был такой грех на Яшкиной душе. Надо же было Лопатиной жинке борщ на окно выставить, остудить она его, что ли, хотела побыстрей — по всему двору такой запах пошел, что у Яшки аж слюнки потекли. Тут и проволочка подходящая под руку подвернулась, с крючком на конце. А уж залезть на крылечную

крышу да подцепить кусочек мяса чуть не в кило весом было делом техники, которой Яшка владел в совершенстве.

— Ваня, Толик, Витька, — позвал он товарищей, — айда в подвал.

Только обсосав последнюю косточку, спохватился Витя:

— Откуда такая вкуснятина?

— Много будешь знать, скоро состаришься, — шмыгнул носом Яшка. — Кстати, дружок, разговор у меня к тебе. А ты поел — и кыш отсюда! — прикрикнул он на Толика.

Тот шариком выкатился из подвала, оглянувшись на Ваню: того, небось, не гонят! А чего его гнать — все равно ничего не слышит, а если и поймет что — не расскажет, не то, что этот болтушка Толька. Там, в подвале, и состоялся разговор Яши и Вити Проценко, закончившийся решением идти в ремесленное.

Родителям оставалось лишь развести руками.

В одну группу их, правда, не приняли; более хрупкому на вид Виктору предложили учиться на слесаря-лекальщика, а из коренастого, широкоплечего Яшки решили сделать кузнеца, чем несказанно обрадовали мать:

— Вот и добре. Намахнешься за день — куда и озорство твое денется.

Далось им это озорство! Человек он как человек, разве что занесет кой-когда не в ту сторону, так с кем не бывает. Опять же уздечку на него набросить некому. Ему б таких родителей, как у Игоря, тогда другой разговор. Ольгу Федоровну не только дети — взрослые слушаются. Такая уж она женщина — умная, волевая. Недаром бывший боец бронепоезда Владимир Яковлевич Нейгоф, занесенный войной из Эстонии в донские края, так и остался на всю жизнь в Ростове, встретив здесь строгую темноокою красавицу. Хотел увезти в свои родные края, чем только не прельщал — и леса-то там густые, и озера прозрачные, и небо ласковое. Покачала молодая жена головой, на том разговор и кончился. Сменил Владимир Нейгоф шинель бойца на

рабочую спецовку и пошел на Лензавод — ремонтировать паровозы.

Ставили Яшке в пример Колю Кизима:

— У друга своего учись людей уважать, — говорил ему Лопатин.

— Да разве я вас не уважаю? — не на шутку расстраивался Яша. — Вы в гражданскую нам светлую жизнь завоевали!

Но Иван Сергеевич не верил в искренность его слов и посматривал на паренька с укоризной.

III



Люди, жившие на Ульяновской, умели работать, умели и веселиться. 1 Мая и 7 Ноября вставали рано: и взрослые и дети спешили на демонстрацию. После того как в семье Кизимов появились Степа и Коля Беленький, к висевшему в коридоре рукомоёйнику выстраивалась целая очередь. Толик крутился под

ногами, мешая старшим, и изрекал истины вроде той, что медведь семь лет не умывался и чистый ходил. И что уж по праздникам-то можно бы и не тратить время на такую ерунду, тем более Коле Беленькому. А кому необходимо — есть смысл умываться с вечера. Он, например, так и сделал. Все смеялись, норовили обрызгать непоседу водой, тот нарочно визжал на весь дом, а сам так и старался попасть под брызги.

После завтрака все разбегались в разные стороны. Фабзайчата, как называла своих приемных сыновей Мария Ивановна, — в училище, Коля — в школу, Антон Никанорович, прихватив Толика, — в порт.

— А мы с тобой, Валюха, всех обхитрим, — говорила дочке Мария Ивановна. — Вот приберем со стола, наденем самые нарядные платья, выберем самую красивую колонну, с ней и пойдем на площадь. Идет?

— Еще как идет! — сияла девочка.

Но так уж всегда получалось, что пристраивались они к той самой колонне, в первых рядах которой шел высокий красивый человек с баяном в руках.

— Папа! — радостно подбегала к нему Валя.

Передав баян товарищу, он подхватывал дочку на руки, сажал на плечо.

— Ну как, все видно?

— Все! — ликовала девочка.

И не было никого ее счастливее. Разве что Толик, которого тоже подхватывали чьи-то добрые руки и он плыл над праздничной толпой, размахивая цветными шарами.

Зиму ребята не любили: никогда не знаешь, какой она будет. Хорошо, если снежная: хоть на санках покатаешься. А если дожди ледяные, да еще с ветром? Не больно разгуляешься. И уроки — как позададут, сидишь до ночи, как привязанный.

Но есть и зимой радость несказанная — елка. Ее ставили на самую середину и охотно мирились с тем, что в комнате

становилось до невозможности тесно. Но поставить елку — это еще не все: ее надо нарядить. И вот уже на столе, на подоконниках, на кроватях появляются горы цветной бумаги, грецкие орехи, блестящая фольга, обертки от конфет. На самую верхушку нужна красная звезда, на нижние ветки — разноцветные флажки, по бокам — фонарики.

Свою самую красивую куклу Валя ставит под елку. Рядом кладет зеркало и обкладывает его ватой. Получается каток. Теперь надо вырезать из плотной бумаги много фигурок. И не как-нибудь, а чтобы они стояли — это как будто ребята пришли кататься. По краям можно поставить скамейки — вдруг кто-нибудь устанет, пусть себе посидит.

А сколько игрушек можно сделать из яичной скорлупы, если, осторожно надколов яйцо с обоих концов, выдуть все, что в середине! Немного фантазии — и, пожалуйста, клоун; а хотите — поросенок. Даже Черчилля можно сделать, если смастерить подходящую шляпу да сунуть в нарисованные красной краской толстые губы коричневую сигару.

К полуночи у Кизимов набивалось столько ребят, что Ольга Федоровна Нейгоф, оценив обстановку, говорила:

— Давайте-ка всей компанией к нам, а то у вас и поплясать негде.

Перебирались в соседний дом. Нина старалась устроить всех поудобнее, бегала за стульями к соседям, ставила на стол угощение.

На самое почетное место усаживали Антона Никаноровича с баяном, потому что без музыки и песен какой же праздник? Наклонив голову, нежно перебирал он блестящие кнопочки, и ребята, с первых тактов угадывая мелодию, начинали петь. Про Москву майскую, про веселый ветер и отважного капитана, про Орленка, про то, как не хочется думать о смерти в шестнадцать мальчишеских лет...

Ровно в полночь, незаметно до того исчезнувшая, появлялась Мария Ивановна, наряженная Дедом Морозом. Придерживая ватные усы, говорила басом, чтоб не угадали:

— С Новым годом, с новым счастьем! Где тут моя Снегурочка? А ну, пошире круг! Антоша, «цыганочку»!

Валя, в украинском костюмчике, с яркими лентами в припорошенных блестками темных волосах, робко выходила в центр хоровода, но уже через несколько секунд, подхваченная огненным ритмом танца, начинала быстро кружиться, хлопая в ладоши, бойко постукивая каблучками, озаряя всех светлой, милой улыбкой. Серые, как у матери, глаза ее становились голубыми, прозрачными. Все смотрели на Снегурочку и улыбались.

Как всегда, весело и беззаботно встретили они и сорок первый год. Начался он обычно, без особых происшествий. Если не считать того, что Игорек, любитель всяких экспериментов, чуть не спалил дом. Увидев на столе пачку нафталина, он высыпал его в банку из-под консервов и поставил на горящий примус — узнать, что будет, если нафталин нагреется. Он не успел подивиться тому, как быстро превращаются белые кристаллы в остро пахнущую жидкость, — столб пламени ударил в потолок.

Испугавшись, что деревянные перекрытия могут загореться, Игорь сбросил примус со стола, за ним покатилась злополучная банка, оставляя за собой огненную дорожку. Всегда спокойный и неторопливый, он на этот раз метался по комнате, срывая с кроватей одеяла, с вешалки — одежду, забрасывая ими пламя.

Через несколько секунд под грудой тряпья что-то жутко зашипело, потом наступила тишина...

О том, что было, когда пришли с работы родители, Игорь не любил рассказывать. На выжженный посередке пол старался не смотреть, но с опытами решил повременить, тем более что

подошла пора готовиться к экзаменам, а программа в пятом классе нешуточная.

Прошумела весна, с ее веселыми ветрами, с ароматом сирени и акации. Закончились экзамены. Впереди было лето — самая лучшая, по мнению детей и взрослых, пора года.

IV



В тот день, когда охваченная непонятной тревогой Нина искала братишку, Игорек и его приятели были на городском пляже. Сначала гоняли мяч, потом, когда народу стало больше, а вода теплее, пошли купаться. Плавали, ныряли; выйдя из воды, со всего размаха кидались в горячий мягкий песок. И не вдруг заметили, как опустел берег. Это в воскресенье-то, да еще в самый полдень!

— Что-то случилось, ребята, — тревожно сказал Коля Кизим, глядя на спешащих к переправе людей.

Узнав, что началась война, они особенно не встревожились: японцам надавали, белофиннам тоже, дадут прикурить и фашистам. Ишь чего захотели — советской земли!

Не по себе стало потом, когда, ввалившись гурьбой в дом Кизимов, увидели Марию Ивановну: самая веселая, самая бесстрашная женщина на свете, закрыв руками лицо, рыдала громко, в голос. Неловко утешал ее Антон Никанорович, уже готовый в дорогу, откуда ему не суждено будет вернуться. Мальчишки, вбежавшие вместе с Колей, переглянувшись, скрылись за дверью. К застывшему на пороге сыну подошел отец, обнял:

— Братья твои, Степан и Коля Беленький, уходят добровольцами. Я тоже повестки ждать не собираюсь. Остаешься за старшего. Береги мать и сестричку.

Потом он повернулся к Вале, подкинул ее, легонькую, словно перышко, под потолок, сказал весело:

— Не скучай тут без нас, будь умницей!

Умницей — это нетрудно, а попробуй не скучать, когда вдруг опустела и стала большой и неудобной комната, когда у взрослых появилось столько дел, что домой они добираются только к ночи. Коротая бесконечно длинные дни то с неразлучной своей подружкой Лилей Проценко, Витиной сестрой, то в одиночестве, сидела девочка дома, выполняя строгий материнский наказ: «Никуда!» Если забежал на минутку Коля, у которого тоже появилась куча каких-то дел, спрашивала тихо:

— Она еще не кончилась, война эта?

— Не кончилась, — хмурился брат.

— А скоро она кончится?

— Скоро. Вот ударят морозы.

— А когда они ударят?

— Известно когда — в декабре.

— Не скоро еще, — вздыхала девочка.

Ни Валюшка, ни Игорек, ни Коля, ни их отцы и матери — никто на белом свете не мог знать в те первые месяцы войны,

каким бесконечно долгим будет путь к Победе. Какой дорогой ценой будет она добыта.

Не знал этого и четырнадцатилетний Коля Крамаренко, живший с отцом, матерью, двенадцатилетним братишкой Женькой и очень серьезной для своих десяти лет сестренкой, которую, как и сестричку Вити Проценко, звали Лилей, неподалеку от Ульяновской, на Донской. Веселый светловолосый мальчуган тоже поначалу спокойно принял весть о войне, тем более что отец его, освобожденный от призыва в армию по состоянию здоровья, остался дома и жизнь шла своим чередом. Ну а что стало похуже с едой, так он на это особого внимания не обращал: перетерпим, недолго. И удивлялся, глядя на сестренку: ходит как в воду опущенная, места себе не найдет.

— Что ты все дома сидишь? — говорил он Лильке. — Пошла бы к девчонкам, поиграли бы в свои куклы. Если война, так что ж теперь — плакать день и ночь, что ли?

Сам Коля не плакал, но, если сказать откровенно, тоже с большим нетерпением ожидал, когда наконец объявят по радио, что фашистов разгромили и война кончилась. То-то сестричка обрадуется! Но шли недели, месяцы, а долгожданного сообщения все не было. И Лиля ходила серьезная, совсем как взрослая. Однажды она сказала ему:

— А мы в войну играем. У Инночки Кримашевой на балконе наблюдательный пункт устроили.

— Чего-чего? — удивился Коля.

— Наблюдательный пункт, — строго проговорила сестричка. — Из спичечных коробок телефон сделали, звонили нашим летчикам, чтобы они Гитлера разбомбили. А еще у нас там госпиталь. Куклы как будто раненые. Мы их перевязали и лечим. И мне Инночка руку забинтовала. Смотри, как здорово. — Девочка подняла рукав, и Коля увидел аккуратно наложенную повязку. — Мы, как подрастем, на фронт пойдем. Инна

медсестрой — у нее сумка с красным крестом есть, — а мы санитарками.

— Дела-а, — присвистнул Коля. — Это сколько ж, по-вашему, войне-то быть? Вы хоть соображаете со своей Инкой?

Шел уже третий месяц войны, а люди еще не верили, что это надолго. Лишь когда по радио сообщили, что нашими войсками оставлен Киев, поняли: война будет долгой и трудной. Как знать, может, и на ростовские улицы ступит сапог фашиста...

Но беда пришла раньше — с первыми бомбами. Поначалу, когда они падали вдалеке от их домов, мальчишки — и на Донской, и на Ульяновской — хорохорились, делали вид, что им совсем не страшно, и ни в какую не соглашались спускаться в убежища.

— Ты только подумай, Гриша, — жаловалась мать Крамаренко-старшему, — пацанва-то наша по всему городу шастает, никакой управы на них нет. Угодят ведь под бомбы, что тогда? А дома — чем не красота: просторный погреб — залазь и сиди. Говоришь — не понимают...

— Всю войну в нем сидеть, что ль? — хмурился Коля.

— Другой заботы нет, — вставлял Женька.

— Поговорите у меня, — грозился отец, — ремнем-то огрею, живо все поймете!

Но ни Коля, ни Женька угроз этих всерьез не принимали. Во-первых, они знали, что отец у них добрый, про ремень — это чтобы попугать. Во-вторых, когда ему их воспитывать: приходит ночью, такой усталый, что за столом засыпает. Они сами потом его разувают да в постель тащат.

В тот день отца тоже не было дома. Коля, набегавшись, пришел домой часа в два, попросил есть.

— Подожди, сынок, — ответила мать, — Лилечка с Женькой придут — я их на базар за мылом послала, — тогда и сядете вместе. А пока глянул бы, почему у нас свету нет. Провод,

что ли, где оборвался? Отец придет ночью, в темноте-то не углядит, а ты ему и покажешь где что...

Коля вышел из дому, глянул на провод: у них в порядке. Пройдя соседний двор, завернул, вслед за проводом, за угол. Так и есть — провис. Где-то там, под крышей, обрыв. Пока светло, надо разобраться. А то придумали эту светомаскировку — фонарик и тот засветить нельзя... Что же все-таки с проводом? Надо подняться наверх, заглянуть на чердак.

Он оглянулся и заметил прислоненную к забору лестницу. Подтащил ее к дому, приставил к стене. Стал подниматься, осторожно ступая на потемневшие от времени перекладины и не обращая внимания на гул самолета — мало ли их теперь летает!

Коля уже был под самой крышей, когда — непонятно откуда — налетел и обрушился на него грохочущий вихрь. Швырнул на землю вместе с лестницей, вместе с домом.

Когда он очнулся вокруг курились желтой пылью развалины. Полутонной фугаской, предназначенной для взрыва моста, но не долетевшей до него, было снесено сразу несколько домов на Донской.

Еще не осознав случившегося, надеясь, что это страшный сон, преодолевая боль и страх, Коля поднялся и медленно побрел к тому месту, где несколько минут назад стоял его дом.

Оцепенев от ужаса, отказываясь верить своим глазам, смотрел он на торчащие из завала обломки знакомой мебели, на уцелевший дымоход, возвышающийся над развалинами, как памятник похороненному здесь беспечному его детству. И оставшейся под руинами матери...

Пыль затмила солнце, и в этом удушливом коричневом мраке призраками метались люди. Истошно кричала женщина, опустившаяся на колени перед лежащей без сознания девочкой с окровавленным лицом. Это была Инночка — самая веселая, самая красивая девочка на Донской улице. Та, что собиралась идти с

Лилькой на фронт, чтобы перевязывать раненых. Она останется жить, но никогда больше не увидит солнца, голубого неба, цветущих акаций. По голосам будет узнавать родных и друзей.

Раненых отнесли в больницу, мертвых похоронили. Остальных Мария Ивановна привела на Ульяновскую. Семью Крамаренко поместила в своем дворе, чтобы сподручнее было помогать осиротевшим детям. Сюда же, на Ульяновскую, привезли из больницы и Инночку Кримашеву. И, как прежде, просиживали у нее по полдня подружки, сочиняя новые, совсем невеселые, игры — про бомбежки, про раненых да слепеньких.

* * *

Города, как люди, — у каждого свое лицо. Но, когда приходит общая беда, они становятся похожими друг на друга — суровыми и строгими. Таким был осенью сорок первого года Ростов-на-Дону, ставший к ноябрю прифронтовым городом.

К оборонительным боям готовились не только части Северо-Кавказского военного округа — на сборных пунктах обучались военному делу бойцы Ростовского полка народного ополчения. В этот стрелковый полк, созданный по решению областного комитета партии, записывались женщины, пожилые люди, совсем молодые ребята — все, кто по возрасту, или по состоянию здоровья не подлежал призыву в армию. Потому что нельзя отнять у человека право защищать родную улицу, родной дом!

Все чаще и чаще падали на город бомбы. Мальчишки, вооружившись лопатами, помогали взрослым заравнивать воронки, расчищать завалы. Таскали на крыши песок, чтобы было чем тушить зажигалки. Обычно фашисты сбрасывали их по ночам. Постоянно дежуривший на крыше своего дома Яшка, услышав характерный звук — будто лупят по крыше из рогатки металлическими шариками, — командовал:

— К тушению приступить!

И первым кидался к ящику с песком. А утром невыспавшийся, злой на фашистскую нечисть, перевернувшую вверх тормашками всю его светлую жизнь, пошатываясь, шел на работу.

Ваня Зятев работал в артели для глухонемых, Витя Проценко и Нина Нейгоф — на военном заводе.

В середине октября, после того как фашисты вошли в Таганрог, многие ростовчане стали подумывать об эвакуации. Заговорили об этом и на Ульяновской. Но Мария Ивановна считала эти разговоры лишними.

— Куда это мы пойдём от своих домов? У кого дети малые, у кого старики немощные. Да и как это город свой родной без присмотра оставить? Работать больше надо, чтоб армия наша ни в чем не нуждалась, вот и выстоим! Ещё и назад фашистов поганых погоним. Не век же им по земле нашей разгуливать...

И работала. От темна до темна. И успевала помочь тем, кто нуждался в помощи, забывая о собственном доме.

— Ты у меня, дочечка, умница, понимаешь, какое нынче время трудное, — говорила она Вале, — потерпи уж...

И девочка терпела и холод и одиночество. Чтобы согреться, она забиралась в самый угол широченной маминой кровати, натягивала на себя все одеяла и думала. О Коле, который приходил теперь, когда она спала, и такой усталый, что засыпал, даже не раздеваясь. О Толике, который вдруг заболел да и умер. Кого бомбами убивает, а кто вот так, непонятно, от чего. А может, это только ей непонятно?..

Погрустив о Толике, Валя начинала думать о войне. Вспоминала все, что знала о войнах. Мальчишки на их улице любили играть в красных и белых, в казаков-разбойников; иной раз воевали по-настоящему — двор на двор, но заканчивались эти сражения благополучно, а главное, быстро. Видела войну в кино, даже плакала, когда утонул Чапаев. И про этих — как их там

— псов-рыцарей немецких кино видела. У них еще шлемы были ужас какие страшные, с рогами! Но Александр Невский и его дружина быстро с этими псами расправились.

А еще Игорек рассказывал, как воевал его отец, — на настоящем бронепоезде. Правда, самого бронепоезда Валя не видела ни в кино, ни в жизни. Она представляла его огромным чудищем вроде Змея Горыныча, только вместо голов у него — пушки. Изрыгая огонь, медленно ползет он по степи, а дядя Володя сидит верхом и шашкой срубает белякам головы. Вале их совсем не жалко, потому что беляки эти против народа. И про Буденного она слышала, даже песню знает: «Никто пути пройденного у нас не отберет, конная Буденного дивизия, вперед!» Буденовцы мчались на конях туда, где засел враг, и прогоняли его. Ну а эта война ни на что не похожа, не поймешь, где она — везде, что ли? И кончится ли когда-нибудь...

От этих мыслей, таких невеселых, да еще от того, что все считают ее почему-то малышкой, бесполезным человеком, девочке хотелось плакать. Но плакать нельзя, потому что тогда и в самом деле получится, что она маленькая.

Укладываясь поудобнее, Валя подняла глаза на черную картонную тарелку, висевшую над дверью. Радио. Негромкая мелодия плывет по комнате. Валя любит такую вот негромкую, красивую музыку, но сейчас пусть бы ее выключили. А тети и дяди, голоса которых она так хорошо знает, сказали бы на весь мир: «Люди, война кончилась! Мы победили!» Тогда вспыхнули бы на улицах фонари и никто не стал бы завешивать одеялами окна — пусть себе светятся! Не рвались бы бомбы. И пришел бы отец. А мать с радости накупила бы много хлеба — целую буханку. Может — две! И сахару! И молока! А тетя Нади снова бы стала продавать мороженое возле «Буревестника». Это очень интересно — продавать мороженое. Сначала нужно взять круглую вафлю — а на каждой из них чье-то имя! — и опустить ее в металлическое гнездышко, потом набрать ложкой

мороженого из специального бачка, в котором всегда холодно, потому что он обложен льдинками, и заполнить им это гнездышко. А потом сверху снова положить вафельный кружок и нажать внизу какую-то штуковину. Пожалуйста, кушайте на здоровье! Но сначала посмотрите, какие имена попались вам — может, одно из них будет вашим собственным. Значит, оно счастливое. Вале всегда попадалось ее имя.

— Что ли ты нарочно подкладываешь? — допытывалась она у тети Нади. А та только посмеивалась:

— Ну вот еще, разве есть у меня время?

Она и впрямь едва успевала щелкать своей машинкой — таким оно вкусным было, это мороженое, что каждому хотелось его попробовать... Хорошо было до войны!

Девочка улыбнулась от приятных воспоминаний, да так и заснула. Личико ее было таким просветленным, что Нина Нейгоф, войдя в комнату, не стала будить свою маленькую подружку. Она положила на край стола — тот, что был поближе к кровати, — кусок хлеба и вышла, тихо притворив за собой дверь. Спи, девчущка, пусть ничто не потревожит твой сон.

Но пожелание ее не исполнилось: едва опустились на землю сумерки, вокруг завывало, загрохотало, засвистело. По соседней крыше гулко застучали кованые Яшкины ботинки. «Воздушная тревога! Воздушная тревога!» — надрывалась черная тарелка. Не дадут поспать... Валя накрылась с головой и уползла в самый дальний угол кровати. Влетевший в комнату Коля не сразу отыскал ее в куче тряпья. Схватил в охапку вместе с одеялом, вынес на улицу.

— Говоришь, большая, а сама не соображаешь, куда бежать при бомбежке, — выговаривал он сестренке, засовывая ее вместе с одеялом в щель, вырытую посреди двора. — Ищи тебя по всему дому!

— Чего меня искать? Я никуда не девалась, — хрипловатым со сна голосом оправдывалась Валя. — Это ты неизвестно где пропадаешь.

— Ну ладно, не ворчи, — миролюбиво говорил Коля. — Спи дальше. Мы так — на всякий случай прячемся. Они мост бомбить летят, сюда не достанут...

Раздвинув прикрывающие щель доски, он выглянул наружу. Черное ноябрьское небо было расцвечено звездопадом трассирующих пуль; испуганными птицами металась голубые лучи прожекторов; хлопали зенитки, рвались бомбы; рев фашистских бомбардировщиков сливался с гулом падающих стен.

— Только бы они не вошли в город, — вслух подумал мальчик.

Но через несколько дней наши войска оставили Ростов.



Город казался вымершим. Люди заперлись в домах, чтобы оттянуть миг ничего хорошего не сулящей встречи с врагом. Ледяной, пронизывающий ветер бушевал на безлюдных улицах, яростно хлопал ставнями полуразрушенных, оставленных людьми домов, будто задался целью сорвать их с петель, пригибал к земле почерневшие стволы деревьев, швырял колючей крупой в лица редких прохожих, заставляя их ускорять и без того быстрый шаг.

Семья Кизимов, ставшая теперь совсем маленькой, была в сборе.

— Ты галстук спрятал? — спросила Мария Ивановна у сына.

Тот, не оборачиваясь, кивнул. Он стоял у окна, выходящего в соседний двор, где жили Яшка, Витя, Игорек, две

Нины — Нейгоф и Пилипейко; там жили и взрослые, а двор казался вымершим: все боялись выйти.

Коля подошел к матери и увидел, что она держит в руках фотографию. В прошлом году какой-то чужак-фотограф, пробегая по перрону, вдруг резко остановился возле Коли, только вышедшего из вагона и окруженного толпой встречавших его ребят. Трудно сказать, что привлекло его внимание — мальчуган ли в широкополой панаме, с рюкзаком за плечами и развевающимся на ветру алым галстуком, прильнувшая ли к нему девочка лет девяти в ярком украинском костюмчике, с ромашками в руках, или строгая красота девочки постарше с голубыми, как небо, глазами, державшей за руки двух мальчишек, только он установил вдруг свою громоздкую аппаратуру — огромный треножник, увенчанный «фотокором», — и попросил минуточку внимания. Потом спросил у ребят, где они живут, и услышал короткое «мы с Ульяновской!»

Через несколько дней старый мастер пришел на эту улицу и увидел девочку со скакалкой.

— Ты кто такая? — спросил он у нее.

— Я — Валя Пронина.

— Скажи-ка, Валя Пронина, где живут вот эти ребята?

Он показал ей фотографию. Девочка махнула рукой в сторону Буденновского и завертела скакалкой.

Так появилась в доме Кизимов эта фотография. Вместе с доброй памятью о человеке, который не только взял на себя труд отыскать их, но и отказался от денег, заявив:

— Меня ведь никто не просил. Просто очень уж они мне понравились, ваши ребятки. — И улыбнулся широко и открыто, как улыбаются очень хорошие люди.

Мария Ивановна поставила тогда фотографию на самое видное место. И вот теперь, когда в город вошли враги, ее нужно было спрятать. Спрятать только потому, что на ней был мальчик в пионерском галстуке. Неужели мама тоже боится фашистов?

Нет, это они, фашисты, боятся, даже детей, если на груди у них пионерский галстук! А может, правильно, что боятся! Но об этом после, сейчас главное — выйти на улицу, посмотреть, что там делается. Был бой, была бомбежка — вдруг кто-нибудь ранен, лежит, истекая кровью, ждет помощи, а они все попрятались. Может, кого-то завалило и он не может сам выбраться?..

Коля подошел к матери, бережно обнял ее за плечи, сказал тихо:

— Пусти меня, мама. Я скоро вернусь. Ты ведь понимаешь — так надо.

Она понимала. Кивнув головой, проговорила:

— Будь осторожен, сынок.

Проводив взглядом сына, подошла к столу, расправила лежащую на нем газету, завернула в нее фотографию. Потом обернула пакет клеенкой, перевязала суровой ниткой и сняла с вешалки пальто.

— И ты уходишь? — всполошилась Валя. — Пожалуйста, мамочка, не уходи, мне страшно!

— Не бойся, доченька, я не уйду. Я тут, возле дома.

Прихватив стоявшую у дверей лопату, Мария Ивановна вышла во двор. Слева от двери вдоль окон коридорчика, служившего кухней, густо разрослись цветы. Розовые и темно-красные георгины еще не успели сбросить листья, и они висели почерневшими, безжизненными клочьями, глухо шумя на ветру. Отводя рукой обледеневшие ветки, Мария Ивановна пробиралась вдоль стены к середине окна, чтобы легче приметить место. От короткого сильного удара тонкий ледок хрупнул, и лопата глубоко ушла в мягкую, влажную землю...

Зарыв пакет, она вернулась в дом, присела, не раздеваясь, к столу, задышала глубоко и ровно, стараясь унять сердцебиение. И чего она так разволновалась? Все будет хорошо. Враги пришли ненадолго. Их обязательно прогонят. Может, с войсками придет Антоша. Как она истосковалась по нему за эти полгода, как

изболелось за него сердце! Зима, холодно, как-то им там, в окопах?..

— Мам, иди ко мне.

— Сейчас, доченька. Только печку затоплю. Ветром все тепло повыдуло. Да и кушать, небось, тебе хочется. Сейчас картохи наварю, Колюшка придет — сядем и покушаем. Правильно я говорю?

— Правильно, — повеселела девочка. — Давай я тебе помогать буду.

— Давай, быстрее управимся. Бери-ка вот водичку, ставь на огонь. А в эту кастрюльку картошки набери. Чтоб на всех хватило.

— Хватит, нас ведь теперь мало. Это раньше целое ведро надо было.

Мария Ивановна старалась отвлечься, отогнать тревожные мысли о сыне...

* * *

Коля вышел на улицу не один. Рядом, стараясь поплотнее запахнуть широкую отцовскую телогрейку, шагал Витя, за ним, ругая на чем свет стоит фашистов, — Яшка.

— Это ж надо, паразиты, куда добрались. Чего они тут не видели, гады ползучие! Вон, домов понарушили сколько — по ихним бы бомбой шарахнуть!

— Не бойся, Яшка, придет время — шарахнем, — обернулся к нему Коля. — А сейчас давай потише, к Буденновскому подходим.

— Стоп, ребята, это еще кто? — замедлил шаг Витя, заметив среди развалин фигурку мальчишки, собиравшего обгорелые доски. — Никак Коля Петренко, тот, что шпиона ловить помогал. Эй, пацан, ты чего тут делаешь? Беги домой, замерзнешь!

— Дома тоже х-х-холодно, — подходя к ним, произнес Коля. — Мать болеет, протопить надо... Вот и собираю дровишки.

— Тоже мне, дровишки, — улыбнулся Коля Кизим. — А ну, братва, поможем тезке. Вон бревнышко подходящее торчит, рядом еще одно. Раз-два, взяли!..

Через несколько минут за высоким дощатым забором раздался пронзительный визг пилы и стук топора.

— Что это вы шуму-то понаделали?! — прикрикнула на ребят большеглазая девушка. — Немцы ведь... страшно.

— Потому и шумим, что немцы! — задорно ответил Яшка и озорно подмигнул. — А ты чья, такая пугливая?

Но девушка уже скрылась за дверью своего дома, расположенного в самой глубине двора.

— Нинка это, Пономаренкина дочка, — пояснил Коля Петренко.

Яшка удивленно присвистнул:

— Александра Семеновича? Скажи на милость, не угадал. Богатая будет. Отец-то ее где? Воюет?

— Воюет, да что-то писем, мать говорила, давно нет.

Коля Петренко собирал поленья, радостно таскал их в коридор:

— Ну, теперь натолим. Теперь согреемся... Ребята, да вы заходите, кипяточку попьем — теплее станет.

— Ты нас и так согрел, — расхохотался Витя. — Аж пот прошиб, как топором намахался.

Но работа не только согрела ребят, она подняла настроение. Они почувствовали себя, как прежде, хозяевами своей улицы, своего города. Шли, отрешившись от всякого страха.

— Ребята, подождите, я с вами!

Они оглянулись и увидели Игорька. Чудеса! Как это Ольга Федоровна его отпустила?

— Отпустила и все, — коротко ответил Игорек.

Вместе вышли на Буденновский и сразу же натолкнулись на фашистов. И ничуть не испугались. Гитлеровцы шли, согнувшись, придерживая посиневшими руками поднятые воротники.

— Позамерзали, — презрительно, бросил им вслед Коля. — Ничего, скоро вам станет жарко.

Они прошли немного в сторону моста, сгибаясь под яростными порывами ветра, зорко поглядывая по сторонам. Весь проспект был запружен фашистами. Жителей города не видно.

— Может, домой? — спросил Витя. — Что без толку ходить? Если кто и лежал пораненный, давно всех подобрали.

— Мотоциклы тарахтят — в ушах свербит, — мрачно добавил Яша.

Ребята уже повернули было домой, но тут Игорек замер, прислушиваясь к странным доносившимся откуда-то из-под земли звукам, — как будто стонал кто-то. Наклонившись, он заглянул в разбитое подвальное окно и охнул, подзывая ребят.

На голом цементном полу лежали и сидели люди в изорванных гимнастерках, прикрытые шинелями, кое-как перевязанные. Многие, распластавшись на полу, бредили, просили пить.

— Воды бы, ребятки...

Коля оглянулся на хриплый шепот и вздрогнул: так похож был на отца человек с окровавленной повязкой на голове. Нет. Показалось...

— Немец! — шепнул Игорь.

От двери, ведущей в подвал, к ним подходил, помахивая автоматом, похожий на цыгана солдат. Часовой. Значит, это пленные...

Позже ребята узнали, что в город вместе с немцами вошли и румынские части, теперь же они молча отошли от окна и не спеша, чтобы фашист не подумал, будто его боятся, дошли до угла.

— А теперь — бегом! — скомандовал Коля.

Через несколько минут они уже теребили Марию Ивановну:

— Там раненые... они голодные.

— Пить просят...

— Им нужен врач, мама!

А врач жил совсем рядом, через два дома от Кизимов, на той же Ульяновской. И звали его Машенька Аллахвердова. За несколько дней до войны закончила девушка Ростовский медицинский институт. Ее товарищи ушли на фронт, а Маша не могла: тяжело заболел отец.

Когда фашисты подошли к Ростову, он сказал дочери:

— Ты бы уехала, Машенька...

— Я не оставлю тебя, что бы ни случилось, — твердо ответила девушка.

Маша сидела у постели отца, вздрагивая от малейшего шороха. Она замерла, услышав на железной лестнице, ведущей к ним на второй этаж, шаги. Знала: фашисты могут убить каждого. Без причины, без суда, только за то, что ты советский человек. Знала, что они беспощадны к коммунистам, комсомольцам. Могут убить ребенка, если увидят на груди красный галстук. Убивают за то, что у человека темные глаза или курчавые волосы. У нее волосы черные, волнистые, глаза — как ночь...

Отец тоже услышал шаги и встревоженно оглянулся на дверь. Постучали тихо, но настойчиво.

— Это свои, папа, — успокоила девушка отца и открыла.

Перед ней стояла, как в доброе старое время, квартальная уполномоченная Мария Ивановна Кизим. Только лицо ее — без обычной улыбки — было суровым.

— Машенька, милая, — заговорила она быстрым шепотом, — очень нужна твоя помощь, мы сами не можем... Понимаешь — в подвале раненые. Есть без сознания...

Девушка метнулась в соседнюю комнату, схватила сумку с медикаментами, набросила старое пальтишко, повязалась невзрачным серым платком — чтобы не бросаться в глаза — и наклонилась к отцу:

— Не беспокойся, я скоро...

Они осторожно спустились по лестнице, вышли за ворота.

А ребята ходили из одного двора в другой, осторожно стуча в дома, и женщины, едва расслышав в их торопливом шепоте слова «наши», «раненые», «надо помочь», отдавали последний кусок хлеба, рвали на бинты чистые простыни, вынимали из чемоданов спрятанные до лучших времен мужнины рубашки.

— Берите, ребятки. Да будьте поосторожнее: фашист — он, что бешеная собака, может и кусануть.

— Про их зверства сколько уж писано...

— Мальчик тут, сказывают, из Таганрога пришел. Чудом спасся, а семью всю расстреляли...

Лица у людей были озабоченными, встревоженными. И лишь Мария Андреевна Пронина, доставая из сундука белоснежные простыни, вдруг заулыбалась:

— Дочке приданое собирать начала, вот и пригодилось.

Коля изумленно оглянулся на русоволосую девчонку лет десяти: это что ж получается — таким пацанкам уже приданое готовят?

Девочку, как и его сестренку, звали Валентиной. Быстренько сообразив, что к чему, она торопливо стала натягивать пальтишко:

— И я пойду. Раненых перевязывать. Меня Инна научила.

— Этого еще не доставало! Ну-ка, раздевайся, и без разговоров. Ты что хочешь — чтобы и тебя немцы покалечили?

Мария Андреевна оглянулась на Колю, ища поддержки. Тот качнул головой:

— Беда с этими малыми. Хоть запирай, чтобы не кидались, куда не следует. Не доросла еще, понятно? — И он строго посмотрел на девочку.

Та обиженно отошла к окну и отвернулась: разве они что-нибудь понимают, эти мальчишки?..

Через несколько минут ребята, Мария Ивановна и Машенька подходили к уже знакомому ребятам часовому. Тот удивленно посмотрел на них, сжал приклад автомата. Но Мария Ивановна, шедшая впереди, протянула ему зеленоватую бутылку с прозрачной как слеза жидкостью. Тот, мгновенно сообразив, быстро огляделся, схватил бутылку и, спрятав за отворот шинели, отошел в сторону.

Мария Ивановна распахнула тяжелую скрипучую дверь.

В подвале было совсем темно, но, когда через несколько секунд глаза привыкли к мраку, Маша увидела страшную картину: десятки беспомощных людей на голом цементном полу, запекшаяся кровь на грязных повязках, лихорадочный блеск глаз, пересохшие от нестерпимой жажды губы...

— Ребятки, милые, быстро за водой! Много воды... Только, пожалуйста, будьте осторожны!..

Коля, Яша, Игорек и Витя, наскоро высыпав на расстеленную Марией Ивановной простыню все, что было в ведрах, помчались вниз по проспекту. По реке уже плыли льдины, но ребята не задумываясь вошли в воду.

— Ого, холодная, аж жжется! — воскликнул Игорь.

Самый младший, он старался не отстать от товарищей. Зачерпнув полное ведро, с трудом подымался вслед за ними по крутому обледенелому откосу. Коля обернулся, подал руку.

Тяжело дыша, выбрались они на берег, опустили ведра — капельку передохнуть. И тут — откуда они только взялись! — налетела орава гогочущих фашистов, страшно обрадованных, что им нет необходимости спускаться вниз — вот она, вода! Расплескивая, стали наполнять фляжки, канистры, бидоны. А

когда наконец ушли, ребята молча подняли перевернутые ведра и снова заскользили вниз, сжав зубы и пряча друг от друга злые слезы.

Успокоились только в подвале, когда увидели, как припали к ледяной воде раненые.

— Что ты хочешь с этих фашистов? — сказал Витя, ни к кому не обращаясь. — Не тронули — и на том спасибо.

— Ничего, ребятки, — отозвался один из бойцов, — придет время — за все им отплатим.

— Поешь, дяденька, — присел перед ним на корточки Яша, протягивая кукурузную лепешку. — Я чего хотел спросить... Как это вас позахватили? Я ни в жисть бы не сдался!

Он смотрел своими ясными голубыми глазами на измученное, заросшее колючей щетиной лицо, на торчащий из-под разорванной гимнастерки окровавленный бинт и ждал ответа. Но человек горестно покачал головой, скривился, будто от нестерпимой боли, и ничего не сказал.

Больше таких вопросов Яша не задавал никому.

Понимали мальчишки, что каждый час в неволе кажется пленникам вечностью, да еще когда ноют раны и мучит голод, потому и старались приходить почаще. И не было для них лучшей награды, чем та сдержанная радость, с какой встречали их обитатели мрачного подземелья.

По утрам собирались у Коли Кизима. Выкладывали на стол все, что удалось достать: кусочки хлеба, вареную свеклу и картошку, небольшие кукурузные лепешки, очень аппетитные на вид. Прикидывали — хватит ли на всех? Если выходило, что не хватит, снова разбегались, радуясь, что на их Ульяновской живут добрые, отзывчивые люди.

В этих нелегких каждодневных поисках помогала ребятам Мария Ивановна. Но ходить с ними в подвал Коля ей больше не разрешал:

— Не сердчай, мама, мы сами. Чуть что — убежим.

Ночи казались ему теперь нестерпимо длинными — скорее бы утро, когда можно спуститься в подвал, убедиться, что все в порядке, что с его ранеными не случилось худого. Но, удивительное дело, фашисты будто забыли о своих пленных, только сменяли караул у двери. Солдаты одни и те же — смуглые, темноглазые. Настороженность их постепенно сменилась равнодушием. Казалось, они даже были довольны, что эти русские мальчишки взяли на себя заботу о пленных.

В конце концов, их дело маленькое. Им сказали охранять, они и охраняют. Конечно, немцы рассердятся, если узнают, что они пропускают к раненым мальчишек, так ведь приказа не впускать не было! Им, немцам, наверное, и в голову не приходило, что кто-то посмеет прийти на помощь пленным — ведь на каждом углу вывешены строгие приказы, заканчивающиеся словом «расстрелять». Неужели в этой стране даже дети не боятся смерти?

По их солдатским рассуждениям выходило, что пора бы двигаться дальше, да что-то не похоже — уж больно сильно укрепляют инженерные части город. Не собираются ли русские наступать? От этих комиссаров всего можно ждать.

Румыны всех русских считали комиссарами. Даже мальчишек, которые неизвестно о чем шептались с пленниками.

А шептались о том же — о наступлении.

— Это ж факт, что Ростов надо отбить, — рассуждал Яшка. — Обязательно надо. А то ведь что получится — дальше, подлюки, кинутся. Город-то наш — ворота на Кавказ. Во как...

— Дон замерзнет — и двинут, — уверенно подхватил Витя. — Хватит гадам ползучим нашу землю поганить.

— Скорей бы уж он замерзал, ваш тихий Дон...

— А что, ребята, фашисты в Ростове лютуют? Тихо все вроде. Вот и нас не трогают. А уж который день....

— Румын в городе много, а им с чего лютовать? Немцы — другое дело. Тем поперек дороги не становись. Мать

рассказывала, в Нахичевани — есть у нас в Ростове такой поселок — пацана фашисты убили. Они приказ вывесили, чтоб голубей поседавали, а какой мальчишка своих птиц отдаст? Увидели его вроде с голубем, ну и...

Коля не смог повторить «убили». Замолк. И вдруг раздался твердый, решительный голос:

— Вот что, ребятки, помогли вы нам здорово, век не забудем. Только больше чтобы мы вас тут не видели! Понятно!

— Это еще почему? — взвился Яшка.

— А вот поэтому самому, — уже спокойно ответил человек, похожий на Колиного отца.

— Правильно, — неожиданно для ребят, да, пожалуй, и для самого себя, согласился Коля. — Все правильно. Не беспокойтесь, мы будем осторожней...

Домой шли молча. Яша и Витя вопросительно поглядывали на своего жоака, сосредоточенно шагавшего рядом, но спрашивать его о чем-либо не решались: еще чего доброго запретит им ходить в подвал. Сам-то он, конечно, раненых не оставит, не такой человек, так ведь и они не трусы. Почему он молчит? О чем думает?

А Коля думал о них, о том, как безраздельно доверяют ему эти славные пацаны свои жизни. Они признали в нем жоака, идут за ним в огонь и в воду. Верят: где он — там удача. А если что случится? Если и на их улице загремят выстрелы, как вот уже целую неделю гремят на других? Если кто-нибудь и из его товарищей захлебнется в последнем крике, как тот пацан с голубем. Как посмотрит он тогда в глаза матерей — Анны Ивановны, Ольги Федоровны, тети Ксении?.. Что скажет им?

Впервые почувствовал он, какой это тяжелый груз — ответственность за других. За сестричку и маму, за товарищей, которые стали ему в эти тяжкие месяцы как братья, за раненых, вот уже целую неделю томящихся в подвале.

Все ли они сделали для них? Может, надо собрать побольше ребят, ночью скрутить часового и вывести всех? Люди приютят их. Надо подумать, поговорить с Сашей. У них на Береговой тоже мальчишек хватает — вот бы вместе! Жалко, что нет Коли Беленького и Степы. Как-то им воюется? Где отец? Из-за этих фашистов и письма не получишь — когда уж их прогонят...

— Коля, — тронул его за рукав не умеющий долго молчать Яшка. — Ты о чем думаешь?

— О дальних странах, — серьезно ответил Кизим.

Яшка поверил. Если фашисты, так что ж теперь — и помечтать нельзя!

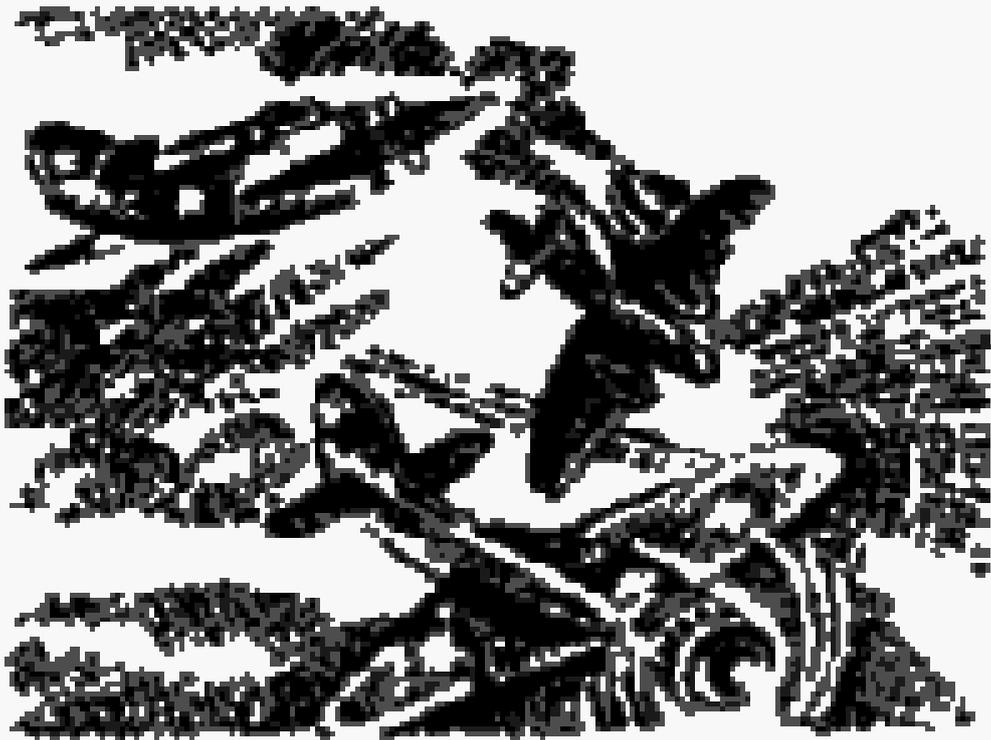
Все мальчишки на Ульяновской знали, что Коля Кизим будет капитаном дальнего плавания. Они целую зиму помогали ему строить корабль. Он получился совсем как настоящий, даже шлюпки по бокам! Весной, когда разлившийся Дон стал похож на море, они спустили корабль на воду и долго махали вслед, пока не скрылся из виду развевающийся на весеннем ветру алый флажок...

— По домам! — скомандовал Коля. — Отогрейтесь — и за продуктами. Утром, как всегда, ко мне. Тогда и поговорим.

А ночью он проснулся от выстрелов. Вскочил, зажег лампу. Увидел широко раскрытые глаза матери, услышал ее горячий шепот:

— Неужели наши? Господи, счастье-то какое!..

VI



— Никакими словами невозможно передать эту радость, — вспоминает день первого освобождения родного города Мария Яковлевна Аллахвердова. Она пытается скрыть волнение, но большие темные глаза наполняются влагой.

В детстве я думала, что слезы льются от боли, от обиды, от горя. Потом поняла: люди плачут и от счастья, когда оно выстраданное.

Мы говорили с Марией Яковлевной о войне и Победе. О наших детях и детях войны. О мальчишках, чьи имена увековечены на мраморе мемориальной доски, и о совсем тогда маленьких девочках Вале Кизим, Вале Прониной, их сверстницах и подружках. Что заставляло их, забывая о собственных бедах, рваться на помощь незнакомым людям, что помогало переносить холод и боль? Наверное, мужество и сердечность взрослых, их бескорыстие. На них, на своих матерей и отцов, старались они быть похожими в то тяжкое для Родины время.

Те, кому выпала счастливая доля жить, по-особому ценили все, что принес с собой мир. И хлеб, и синеву спокойного неба, и бескорыстие настоящей дружбы. Но не все из них смогли передать этот особый душевный настрой своим детям. Может быть, тоже не хотели вспоминать войну, боялись, как бы ее страшная тень не омрачила радости тех, кто им дороже жизни?

— Иногда мы боимся сделать больно нашим детям, — задумчиво говорит Мария Яковлевна. — Бережем их от переживаний, хмуримся, если замечаем, что они плачут над книгой. Думаем: пусть лучше радуется дочка. А потом плачем сами. Удивляемся, откуда равнодушие, черствость... Выходит, сами и виноваты... Но тронут ли их далекие чужие беды?..

Я иду в 26-ю школу, в класс Людмилы Христофоровны Хасабовой, ребята которой разыскали меня как участницу Великой Отечественной войны, и мы крепко дружим. В уютном, теплом и светлом математическом кабинете я рассказываю ребятам, как учились и жили дети фронтового Ростова. В классе — ни шороха. Никто не слышит звонка. Они там, на Ульяновской, в сырых, нетопленных классах 35-й школы; дома их разрушены бомбами, отцы — на фронте. А вокруг столько больных, старых, беспомощных!.. Но разве сейчас нет людей, которые нуждаются в помощи? И разве не по-новому должны посмотреть они на себя, на своих товарищей после этого нашего разговора?..

Я благодарна своим слушателям. И теперь спокойно буду продолжать свою повесть. Рассказывать о том, как строили мальчишки оборонительные сооружения, потому что всем было ясно: не оставят фашисты в покое город, прикрывающий дорогу на Кавказ. Напоминать главный закон войны: все для фронта, все для Победы! И работа, и учеба.

Многие старшеклассники ушли из школы на заводы и в госпитали. Кто помладше — продолжали учебу. Занятия, правда, проходили в другой школе — своя была занята под госпиталь, но все равно хорошо, когда учишься.

Вот только писать совсем не на чем. Как это они раньше не берегли тетрадки! Дураки, из-за одной кляксы новую начинали. Теперь приходится писать на чем попало — на газетах, на старых обоях. И учебников нет. А в старых — страницы вырванные. Не слушались, когда говорили, что книжки надо беречь. Теперь бы берегли, да нечего...

— И куда все подевалось? — развела однажды руками Лилька Проценко. — Чернилочек даже нету.

— А кто вчера пузырек перекинул? — строго посмотрела на подружку Валя. — Кто тебе чернилочки делать будет? Сейчас самолеты да танки делать надо. Да патроны. Война ведь...

— Война, — уныло согласилась Лиля. — На работе все, в доме холодно. Можно я у тебя посижу?

— Сиди, пожалуйста. Давай стол к печке подвинем, она еще теплая, и будем уроки делать. А то скоро в школу. Вон уже солнце заходит.

— Мне в этой школе спать хочется, — пожаловалась Лиля. — И кто это придумал третью смену?

— Гитлер придумал. — Валя даже рассердилась на подружку. — Что ли непонятно? В школах-то теперь госпитали.

— Его бы в третью смену, знал бы... — проворчала Лиля.

— Ладно болтать, давай-ка лучше задачку почитаем. Самим думать придется, Нина день и ночь на работе. И когда она спит? Еще на курсы медсестер ходит. Наверное, на фронт собирается. Хорошо им, большим, все можно. А мы с тобой никак не вырастем, и толку от нас никакого.

— Почему это — никакого? — возмутилась Лиля. — Варешки вязать научились, посылки на фронт собираем, за бабушками ухаживаем. Вчера мальчишки за цветным ломом приходили, так я им примус отдала — зачем он нам, сейчас же печки топим... Знаешь, мне потом как попало?

— Знаю, — засмеялась Валя. — Сюда было слышно.

Ей вдруг стало жалко незадачливую свою подружку, вспомнились горькие ее слезы над пролитыми чернилами, подумалось: ладно, Коля не рассердится. И, повозившись в полутемном углу, она протянула Лиле белую чернильницу.

— Ой, непроливашка! — обрадовалась Лилька. — Это мне? Вот здорово! Ее хоть кверху ногами перекинь — ни капли не прольется.

Они уже собрались в школу, когда в комнату вбежал Коля. Лицо его сияло:

— Ура, сестричка! Фашисты от Москвы драпают! Теперь можно флажки доставать!

Еще в первые дни войны ребята понаделали много красных флажков — отмечать линию фронта. Но когда и Прибалтика, и Белоруссия, и Украина оказались позади флажков, Коля снимал их, завернул в газету и положил за зеркало. Долго и молча смотрел на карту, потом снял со стены и аккуратно скатал в трубочку.

Сейчас он достал ее, бережно расправил и повесил на старое место — над маминой швейной машинкой. Вынув один флажок, воткнул его левее Москвы. Теперь держитесь, фашисты!

Коля в эту зиму редко видел сестренку. Учился он в первую смену, уходил из дому затемно: занятия начинались в семь часов, и рассветало лишь к концу второго урока. После школы, передав с Игорьком книжки, отправлялся расчищать завалы, помогал в госпитале, где лежали теперь и те раненые, которых они нашли в подвале, и домой добирался, когда девочка

уже спала. Теперь он сам спешил на Ульяновскую — на минутку, только передвинуть флажок.

— Сводку слушала? — спрашивал он у Вали. — На сколько наши продвинулись?

— На тридцать километров, — торжественно отвечала девочка, не спуская глаз с флажка. И каждый раз замечала придирчиво: — Ты чего так на мало подвинул?

— Масштаб такой.

— Какой там еще масштаб? Двигай дальше. Чтоб до елки война кончилась.

— Нет, Валюха, до елки не управимся. Это ведь только один флажок в наступление пошел. А их знаешь сколько?

— Знаю, — погрустнев, отвечала девочка. И просила: — Не уходи. Ну, пожалуйста. Хоть одну сказку расскажи...

— Будут тебе сказки, сестричка, вот побьем фашистов...

В репродукторе вдруг что-то зашипело, потом раздался щелчок, и тревожный голос диктора произнес:

— Воздушная тревога! Воздушная тревога! Воздушная тревога!

— Опять летят, — вздохнула девочка. — И как им не надоест? Летают и летают. А их все равно никто не боится, правда, Коля?

— Правда. Только в щель все-таки надо идти, — ответил он, вставая.

Сидя в щели, прислушиваясь к разрывам фугасок, Коля мечтал о том времени, когда, развернув паруса — его корабль обязательно будет с парусами, — войдет он в знакомую гавань, спустится по трапу, обнимет мать, по которой соскучится в дальнем плавании, а сестричке протянет огромную раковину. Если ее приложить к уху, услышишь шум моря.

— Коля, — притронулась к его рукаву Валя, — я сегодня в школе Яшку видела. Он что — опять учиться надумал?

— Ученье — свет, — засмеялся брат.

А Яшка и в самом деле вернулся в школу. Чудно как-то получилось: подошел к нему Саша Дьячков, тот, что на Ульяновскую перешел, когда их дом разбомбило, и говорит: «Пойдем в школу, аттестат получим — может, в военное училище примут, а то мыкаемся туда-сюда, а пользы от нас, неучей, никакой». Яшка отвечает: «А ну как директор не примет?» А Саша говорит: «Попросим хорошенько — примет». И они пошли к директору.

В глубине души Яша надеялся, что им дадут от ворот поворот и на этом все дело кончится. Перспектива «протирать штаны» его явно не привлекала. Военное училище — это, конечно, здорово, да только, пока они повыучатся, и война кончится. Все-таки лучше, если их нагонят... Но директор зачислил их в школу без всяких разговоров. К великому Яшкиному сожалению.

Впрочем, жизнь его от этого особенно не изменилась — ребята, начиная с седьмого класса, больше работали, чем сидели за партами. А когда началось лето, собрали их — все три седьмых — вместе и объявили: завтра в колхоз.

Так Саша Дьячков, Яша Загребельный и еще 70 ребят из 35-й школы уехали на восток, в Ремонтненский район.

А война продолжалась. Яростная, беспощадная. И не было видно конца ей. И снова спрятал Коля красные флажки — не поднималась рука переставлять их на восток...

Он жадно читал газеты, восхищаясь подвигами героев. Представлял их себе людьми богатырского сложения, сильными, высокими. Но однажды пришла в их дом похоронка — так называли люди извещение о смерти, — и он прочел, что смертью храбрых пал за Родину названный его брат Степан Сидоркин. Самый простой, самый обыкновенный детдомовский паренек — а погиб героем.

И, конечно, с полным правом мог назвать он героем второго своего названного брата — Колю Сидоренко, который

храбро сражался, защищая Севастополь, и вернулся домой с искалеченной ногой. И своего отца, который писал, что бьет фашистскую нечисть и не успокоится, пока не прибьет последнего фрица. Коля знает: так и будет.

А разве не геройски сражался старший лейтенант Проценко, Витькин отец? После тяжелейшего ранения врачам едва удалось уговорить его поехать домой. «Ничего, ребята, — говорил он, — подлечусь, отдохну и снова на фронт. Там еще дел много!»

Они приходили послушать его рассказы о том, как всыпали фашистам под Москвой, но Анна Ивановна выпроваживала мальчишек:

— Дайте, ребятки, человеку в себя прийти. Трудно ему заново каждый бой переживать. Говорит — будто ничего, а всю ночь потом стонет да зубами скрипит.

Такая она теперь была счастливая, эта Анна Ивановна, куда и болезни подевались. Живым пришел с войны ее Вася. Это ничего, что пораненный, она его выходит. И дружкам Витькиным делать здесь нечего, только расстраивают человека. Пусть идут к Коле Беленькому, он помоложе, покрепче.

И они шли к Кизимам, куда, как в родную семью, вернулся Коля Сидоренко. По полдня не отходили от него, требуя все новых подробностей героической обороны Севастополя, и тот бледнел от восторга и волнения, вспоминая боевых товарищей:

— Фашисты моряков называют черной смертью. А чапаевцы как сражаются!..

— Какие чапаевцы?! — удивлялись мальчишки. — Ты что?

— Самые настоящие чапаевцы. Двадцать пятая Чапаевская дивизия, которая еще в гражданской войне прославилась. Чапаев погиб, а дивизия осталась. И номер свой, и

знамя свое сохранила. Там даже девчонка пулеметчицей была, так ее все Анкой звали, как в кино.

— А на самом деле как? — спросила Нина Пилипейко.

— Настоящее имя, как у тебя, — Нина Онилова. Я про нее во фронтовой газете читал. Немцы ее до ужаса боялись.

— Она что — погибла?

Коля молча кивнул. А Нина продолжала свои расспросы:

— На фронте девушек много?

— Не так чтоб, но есть. Санитарки, связистки, разведчицы... А ты не на фронт, случаем, собралась?

— Надо будет — и мы пойдем.

Это сказала Нина Нейгоф. Она заканчивала курсы медицинских сестер и была уверена, что на фронт попадет обязательно, несмотря на неполные семнадцать.

— Я читал в «Пионерской правде», что можно стать сыном полка, — проговорил Игорек. — Это как, записаться надо?

— Я тебе запишусь, — прикрикнула на братишку Нина.

— А чего, — невинно произнес Витя. — Он там какой-нибудь опыт поставит — и все фашисты кверху тормашками.

Игорек искренне огорчился: такой хороший парень этот Витя, и на тебе. У Яшки, что ль, научился? Но тут же забыл о своей обиде — Коля Беленький продолжал рассказ:

— Когда я уже в госпитале был, парня привезли, на соседней койке лежал: так он про морячка одного рассказывал, как тот с горящего катера бомбы руками сбрасывал, чтоб не взорвались, значит, а то и кораблям и людям крышка. Все покидал, а две самые маленькие, что последними остались, кинуть не успел — пламя охватило и его и бомбы. Так и взорвались в руках. Говорят, из Таганрога паренек, земляк наш. Я и фамилию запомнил. Веселая такая — Голубец. А зовут Ваней... — Он помолчал, потом поправился: — Звали.

Ребята притихли. Они думали об отважной пулеметчице Анке, о смелом парне Ване Голубце. Смотрели на выцветшую

гимнастерку Коли Беленького, на палку, с которой ему теперь не расставаться, и завидовали им, и жалели их.

А Николай снял со стены гитару, тронул струны и посмотрел на Нину Пилипейко.

— «Ночь над Белградом тихая вышла на смену дня», — негромко запела девушка, и отступили сумерки, а с ними все темное и страшное, что принесла с собой война.

Разошлись поздно. Но едва заснули, началась бомбежка.

Казалось, люди фронтового города должны были привыкнуть к этим глухим разрывам, к грохоту падающих стен, к стонам раненых и жуткой неподвижности убитых. Но всякий раз, когда от тугих ударов со стоном вздрагивала земля, когда рушилось все, что еще могло рухнуть, сердца людей сковывал ужас. Не за себя — за детей. За мальчишек, возле которых носилась смерть. А им и в голову не приходило, что она может настигнуть их. Загнать ребят в убежище было непростым делом.

— Мы на крышу, — заявляли они, — зажигалки тушить. — И, лукаво переглядываясь, добавляли: — А то погорят дома, где жить будем?

— Какие зажигалки — не видите, фугасками лупит! А ну, марш в церковный подвал!

Дался им этот подвал, как будто нет другого — у Игорька во дворе, например! Или щель — чем плохое укрытие?

Ребята хитрили. Они прекрасно понимали, какое надежное убежище этот самый подвал: сводчатые потолки, пожалуй, не пробьет и полутонная бомба. Тем более что рухнувшее здание ясель надежно прикрыло подвал. Места там было вдоволь, и многие устроились со всеми удобствами. Даже ухитрялись укладывать спать малышей. И те засыпали в самый разгар бомбежки, потому что сюда доносился только глухой гул. Вот по этой-то причине и не любили ребята подвал — ни побегать, ни пошуметь, ни наружу выглянуть. Сидишь и не знаешь, что там, в небе. Вот почему — если уж так надо взрослым

— они предпочитали щель. Протянувшаяся зигзагом через весь двор, она была прикрыта сверху досками, присыпана землей. Они раздвигали доски и, упершись спинами в отвесные стены щели, следили за воздушным боем. Вспоминали Сашу и Яшку, от которых матери ждали писем, а писем все не было.

Когда бомбежка кончалась, ребята выбирались из щели и спешили туда, где дымились развалины, стонали люди. Помогали переносить раненых в больницу, расчищали улицы, утешали плачущих малышей.

Как-то за Колей Кизимом и Витей Проценко увязались сестрички. Коле достаточно было обернуться, чтобы Валя, съездившись под его взглядом, замедлила шаг. Лилька же угомонилась, лишь заработав от брата щелчок по носу.

— Противный какой, — жаловалась она подружке. — Прямо дерется. Чего я такого делаю?

— Ты на него не сердись. Нельзя — значит, нельзя. Хочешь, пойдём к нам?

Но успокоить Лильку оказалось не просто — очень уж обидным показался ей этот злополучный щелчок:

— Еще он меня ревой обозвал. А сам? Я один раз ночью проснулась, а он сидит и слезы вытирает.

— Какие слезы? — удивилась Валя.

— Обыкновенные. Свои. И носом шмыгает.

— Он что — сидел и просто так плакал? — не понимала подружка.

— Сначала он писал, — терпеливо стала объяснять Лиля. — Есть у него тетрадка. Днем он ее прячет, а ночью вынимает и пишет.

— Письма пишет?

— Письма в тетрадках не пишут, — резонно заметила Лиля.

— Может, он уроки делал?

— Какие уроки? Он же работает, а на работе уроков не задают. Стихи он пишет.

— Стихи? — Валя изумленно подняла брови. — А разве, когда пишут стихи, плачут?

— Понимаешь, стихи бывают разные. Мама тогда сильно болела, вот он и придумал, что она как-будто умерла... — Голос у Лильки дрогнул. — И стал сочинять, как без нее плохо. И заревел. Представляешь — сам придумал и сам ревет...

— О господи, — явно подражая матери, всплеснула руками Валя. — Что ли так бывает?

— У поэтов бывает, — авторитетно заявила Лиля. И только тут поняла, что не сердится на брата, а, наоборот, гордится им.

Дома девочки застали Марию Ивановну, которая хлопотала у примуса.

— Вы чего такие невеселые? — сразу заметила она их настроение. — Кушать хотите?

— Хотим! — хором ответили подружки.

— Вот и ладушки. Сейчас вам супчику налью, жизнь-то и повеселеет.

Мария Ивановна поставила на стол миску с жидким пшеничным супом, положила рядом три ложки.

— Кушайте на здоровье. А я сбегаю еще одну Лилечку позову, Крамаренкину. Мальчишек дома нет, сидит одна, бедненькая. Вы уж с ней поласковой — сиротка она. Сколько уж времени прошло, а все по матери слезки льет.

Через несколько минут скрипнула дверь, и в комнату вошла худенькая большеглазая девочка.

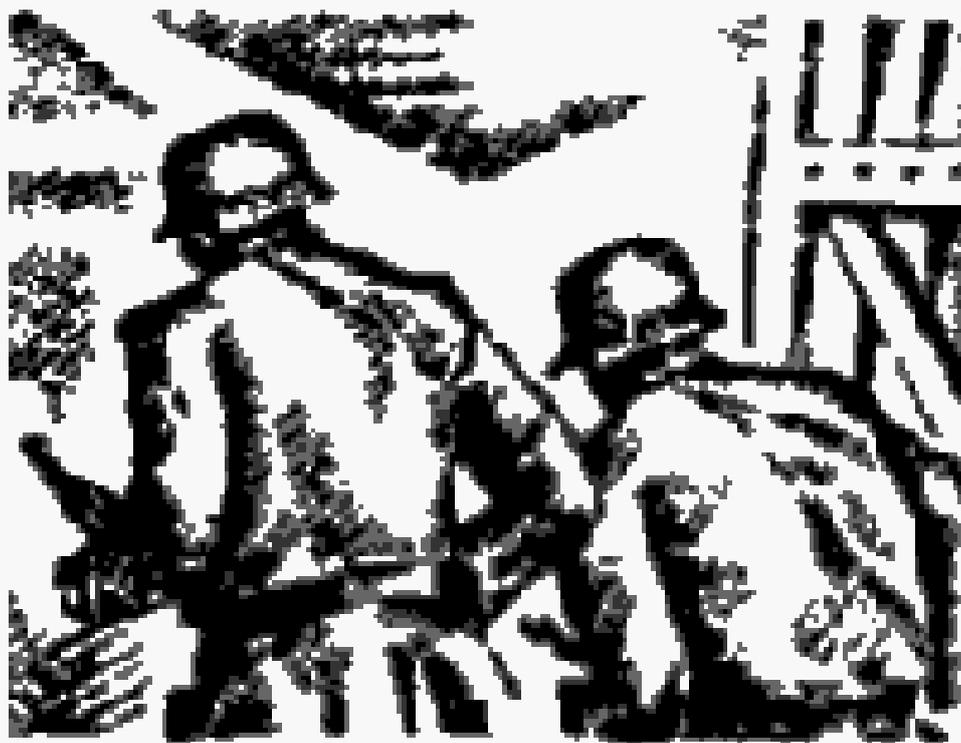
— Тетя Маня сказала, что она придет не скоро. Чтоб мы никуда не ходили.

— А куда идти-то в такую жару? На вот, ешь, потом играть будем. Мне вчера Коля куклу сделал... Да ты ешь, это все твое, мы с Лилькой уже наелись.

Присев на кончик стула, девочка несмело потянулась за ложкой.

— Ты что, как чужая? Веселей! — ободрила гостью Валя.

VII



Будто вчера оно было — трудное лето сорок второго года. С тревогой, надеждами, с колоссальным напряжением человеческих сил. На тысячи километров тянулась изломанная линия фронта, приковавшая к себе миллионы людей — самых отважных и самых сильных. Чтобы сдержать натиск врага, им нужны были пушки и самолеты, корабли и танки, автомашины и пулеметы, снаряды и бомбы.

Миллионы людей в тылу должны были работать, преодолевая смертельную усталость, забыв о выходных и отпусках. Но тем, кто стоял за станками, необходимы были металл, уголь, энергия. И люди опускались в шахты, строили подъездные пути, возводили электростанции.

Напряженно работали ученые, писатели, художники, артисты. В нетопленных аудиториях постигали науку студенты. И каждого надо было накормить. Но под пятой фашистов были Украина и Белоруссия, первые гитлеровские соединения хлынули в донские степи, под угрозой захвата оказались Кубань и Ставрополье. Стране нужен был хлеб. Нужен, как оружие, как воздух.

Вот почему, сев за штурвалы стареньких СТЗ, мы, девчонки, чувствовали себя полноценными бойцами.

Однажды я здорово обиделась на корреспондента «Комсомольской правды» Александра Андреева, прочтя в его очерке, как они, уходя на фронт, вытирали слезы у своих плачущих подруг. На клочке измазанной солидолом бумаги — другой под руками не оказалось — я написала, что мы не плачем. Мы ведем битву за хлеб.

Вскоре я ушла на фронт, и ответное письмо Александра Андреева мне переслали по адресу полевой почты. А еще через несколько месяцев штабной писарь Гришка Маслюков прибежал в расположение роты; размахивая брошюрой, потребовал внимания. И торжественно прочел строки о нерасторжимом родстве фронта и тыла: «Имя снайпера Коли Христиненко неразрывно связано с именем... — Гришка аж выкрикнул мою фамилию, неизвестно чему радуясь, — которая водит трактор в приволжских степях».

Можно ли вычеркнуть из памяти все то, что согревало нас в те долгие, невероятно тяжкие годы? Помогало сохранить наши души от ненависти и черствости...

Вновь обращаюсь я к событиям на Ульяновской улице, ибо в них, как в капле воды, отражены и высокая радость, и нестерпимая боль, и яростная вера в Победу. Все то, что составляет духовное богатство народа, утрата которого равносильна духовной смерти.

Знойный июль сорок второго. С тревогой отходят люди от репродукторов, прослушав очередное сообщение Советского информбюро. Пал Севастополь. И Коля Беленький ходит, как потерянный.

— Какие там были ребята, Петрович! — говорит он Витиному отцу. — А песни какие!.. Ты «Раскинулось море» знаешь? На этот мотив ребята слова сочинили — поешь и плачешь. И такое в душе поднималось, что ничего не было страшно! Во весь рост в атаку шли. Пули свистят, а мы идем. Кто кричит: «Полундра!», кто песню запеваает...

Прядь белокурых волос прилипла к влажному лбу, светлые глаза юноши потемнели.

— Слушай, Петрович. Песню, что пели мы там, в Севастополе, слушай...

*На пыльной дороге лежит капитан,
Он кровью с утра истекает,
Он видит в тумане Малахов курган,
Сознание его покидает.
Он знает: недолго фашисту дышать,
Мы зверства его не забудем,
Мы можем и будем с врагом воевать
И вновь в Севастополе будем.
Морская пехота на помощь придет,
Эскадры придут на базы,
Весеннее солнце над Крымом взойдет —
Туманы рассеются сразу.
Вперед же, товарищ, и только вперед,
Нас Родина в бой посылает,
Она нас к Великой Победе зовет,
На подвиги нас вдохновляет.*

— Хорошая песня, Коля. Друзья твои — бойцы настоящие. И тебе не в чем себя упрекнуть.

— Да ты понимаешь, Петрович, что это значит — Крым у фашистов? У них же теперь руки развязаны. Они ж с моря — по Кавказу! И Ростов им не помеха.

— Ростов, дружок, и с суши им теперь не помеха. Слышал, где бои? Кантемировка, Миллерово... С севера обойдут.

— О чем это вы? — испуганно спрашивает Анна Ивановна.

— Трудно нашим, Аннушка, вот о чем. Всяко случиться может.

Гул орудий неумолимо приближался к городу. Одна за другой двигались к мосту армейские части, чтобы переправиться на левый берег. В ту же сторону направлялись машины с тяжело ранеными бойцами.

23 июля бои начались на улицах Ростова.

— Прикрывают отход частей, — определил Василий Петрович. И повернулся к сыну: — Ты, Витек, будь осторожней. Товарищам своим тоже накажи. Если с вами что стряется — с матерями знаешь, что будет? Посмотри на нашу — как тень ходит... Уйти бы надо, да сил нет.

Коля Кизим помогал грузить на машину раненых. Работал, пока не вынесли последнего. Потом медленно пошел домой. Подумал, глядя вслед отъезжающей машине: вскочить бы сейчас на подножку... А как же мама, сестричка, товарищи?..

Его пошатывало от усталости, на мокрой от пота рубашке большими белыми кругами выступила соль.

Коля прошел мимо своего двора, миновал соседний, где жили Игорек и куда-то запропастившийся Яшка, так и не приславший ни одного письма. Хотел спуститься к Дону по проспекту Семашко, но наткнулся на высокую перегородившую его баррикаду. Он и забыл о ней! Через развалины во дворах лезть не хотелось, и он прошел еще один квартал. Спустился к

реке по переулку Подбельского, сбросил пропыленную одежду и вошел в воду.

Прохладная донская вода слизнула пот, освежила. Коля поплыл, рассекая мягкие, податливые волны.

Он плыл к мосту, оставляя справа развалины многострадальной Донской улицы. Потом повернул назад. Вышел из воды, сполоснул в реке рубашку, прислушался: гул машин, говор, топот лошадиных копыт, голоса. Еще не поздно влиться в этот поток. Уйти. Ведь ничего не стоит... Но это если думать только о себе. А этому Коля не был обучен.

Ночь прошла тревожно. Утром, когда шум боя стал ближе, люди, захватив самое необходимое, спустились в глубокий, вместительный подвал. В тот самый, где когда-то Яшка угощал друзей мясом. Разместились на ящиках и бочках, валявшихся здесь во множестве еще с тех времен, когда было что запастись на зиму. Прикрыли лаз сбитым из досок тяжелым щитом.

И потянулись долгие, нудные часы ожидания. Прислушивались к выстрелам, старались определить, далеко ли бой. Перебрасывались короткими, ничего не значащими фразами. Кроме женщин, детей, стариков и вернувшихся после госпиталей мужчин, был здесь и Владимир Яковлевич Нейгоф. Стоял, прикусив губу: как же так получилось? Сказали: жди, сменим, а никто не явился. Телефонная связь оборвалась. А что без связи пункт противовоздушной обороны? Да и кому сообщать, когда последние войска покидают город? Идти на Лензавод — тоже смысла нет. На фашистов, что ли, работать начинать? Заскочил домой и угодил в этот подвал. Человек он гражданский, оружия нет, кончится это сидение — выход найдет. И все-таки не так получилось, как он бы хотел. Никто ведь не мешал ему встать в этот трудный час в ряды защитников города. Ему, коммунисту, бойцу бронепоезда... Юношей, в гражданскую, не растерялся, а сейчас...

Без кровинки в лице стояла рядом жена. Низко опустив голову, думал о чем-то Коля Беленький. Молчали Лопатин, Пилипейко, Зятев. Коля Кизим присел на ступеньку лестницы, рядом стояли сестренка и мать.

Мария Ивановна чутко прислушивалась к доносившимся с улицы звукам. Кажется, она сделала все, что было нужно: уговорила всех уйти из домов и укрыться в подвале, строго-настрого приказала детям не высовывать носа, на самый большой замок заперла ворота.

Несколько семей укрылись в церковном подвале, Кизимам он тоже сподручнее — находится в их дворе, но Коля решил не расставаться с товарищами, и они устроились здесь, во дворе, куда выходят окна их стоящего поперек домика.

* * *

Уличный бой приближался. Часа в четыре, когда солнце уже повернуло на закат, защитники города, выполнив задачу по прикрытию войск, отстреливаясь, сами стали отходить к мосту.

Изучив накануне план города, старший лейтенант Михаил Батыркин с группой бойцов свернул с Ворошиловского проспекта на Ульяновскую, чтобы по ней, миновав четыре квартала, выйти на Буденновский проспект и по нему — на мост.

Израненные, измученные непрерывными боями и немилосердным зноем, почерневшие от пыли и пороховой гари, запекшимися от жажды губами, бойцы шли за командиром, еле держась на ногах. Им удалось оторваться от фашистов, и была слабая надежда, что, свернув на боковую улицу, они сбили их с толку.

— Давай, ребята, подтянись, скоро переправа, — поторапливал их старший лейтенант.

В горле у него пересохло, голова кружилась, на повязке проступили пятна крови. Раненный в голову и правое плечо, он

едва держался на ногах. Прислонившись к стволу молодого деревца, пропускал вперед бойцов, ободряя их, а сам чувствовал, что вот-вот упадет. Все же этот минутный отдых придал ему силы, и он пошел. «Давай, командир, — подгонял он себя, — уже второй квартал. Шагай... Другим тоже трудно, а они идут».

Но бойцы вдруг остановились. Кто-то крикнул:

— Впереди немцы!

— Сворачивайте вниз, уходите к Дону, — прохрипел Михаил.

И почувствовал, как его оставляют силы. Кто-то подхватил командира, подвел к воротам, крепко запертым изнутри.

— Товарищ старший лейтенант, отдохните.

— Уходи... Спасайся. Я сейчас. Следом. Я дойду...

Чтобы не упасть, он схватился за железные прутья ворот.

Услышав позади выстрелы, оглянулся. Увидел гитлеровцев с автоматами наперевес.

— Почему они медлят, почему не уходят вниз? — бормотал он, теряя сознание и медленно сползая по воротам на землю.

Он не слышал, как звякнул замок, не чувствовал, как подхватили его безжизненное тело чьи-то руки...

Позже, когда к нему вернется сознание, узнает он имя своей спасительницы — Мария Андреевна Пронина. Тогда же станет известной причина, по которой его бойцы замешкались на перекрестке: баррикада. У них не было ни сил, ни времени, чтобы преодолеть ее: с обоих концов улицы приближались фашисты. Шли они осторожно, прячась за деревьями. А сверху, отвратительно лязгая гусеницами по булыжнику, спускался танк с черно-белым крестом на броне.

— Уходим через двор, братва!

Однако и этот, последний в квартале двор, оказался на крепком запоре. Бойцы почти упали на толстые железные

прутья, но ворота даже не дрогнули. Кто-то размахнулся прикладом, намереваясь сбить замок, но тот висел по ту сторону и ударить по нему как следует, было трудно.

И в это время раздался звонкий мальчишеский голос:

— Сейчас открою!

Высокий смуглый мальчуган, появившийся в буквальном смысле слова из-под земли, быстро открыл замок и распахнул ворота.

— Все сюда, быстро! Ребята, — обернулся он к подбежавшим мальчишкам, — проводите к Дону, кто ранен — помогите спрятаться. Переодеть бы их...

Коля Кизим шагнул к раненому бойцу, который с трудом стягивал гимнастерку; у его ног лежала плащ-палатка, на ней — винтовка.

— Вам далеко не уйти, — сказал он ему. — Мы вас переоденем и спрячем. Только нельзя, чтобы с вами было оружие. Поверьте нам — мы сохраним его.

Боец посмотрел в горячие, темные глаза мальчика и крикнул, обращаясь к товарищам:

— Кто ранен — оружие на плащ-палатку!

Люди уже выбегали из своих квартир с охапками одежды. Коля Кизим и его друзья помогали раненым переодеваться, прятали в развалины окровавленные гимнастерки.

Мария Ивановна подбежала к плащ-палатке, завернула оружие и попыталась приподнять. Пожалуй, одной не управиться.

— Тетя Маруся, помочь? — подскочил к ней Коля Крамаренко.

— Давай-ка это, Колюшка, в наш двор. В церковный подвал.

— А как же мы выйдем на улицу? Немцы близко.

— Через нашу квартиру; окошки-то низенькие, у самой земли. Ну-ка, залазь!

Мальчик ловко соскользнул по подоконнику вниз, помог Марии Ивановне. Они вытащили оружие во двор, но решили спрятать его не в подвале, где могли быть люди, а в щели, той самой, где частенько пережидали бомбежки.

— Я его так упрячу, что ни одна живая душа не найдет, — горячился Коля.

Согнувшись, протащили они свою ношу в самый конец щели, присыпали землей.

— Я останусь, — сказал вдруг Коля. — Буду охранять.

Он и сам не мог понять, почему пришло к нему такое решение, но оно пришло, и теперь ничто не могло поколебать его. Махнув Марии Ивановне рукой, Коля скрылся в щели.

Когда женщина вернулась — той же дорогой, через свою квартиру, — в соседний двор, он уже был пуст. Последней спустилась она в подвал. И тут же со стороны улицы раздались глухие взрывы.

— Гранаты, — спокойно сказал Коля и помог матери спуститься ниже.

* * *

По ту сторону ворот бесновались разъяренные фашисты: только что видели они русских солдат, много солдат, и все они исчезли. Будто провалились сквозь землю. Или укрылись в домах и хотят подпустить поближе? В окна полетели гранаты. Ответом было лишь эхо взрывов. И тишина. Куда же они подевались? Ворота заперты... А что, если это заперлись от них, от победителей? А своих пропустили, спрятали!

Остановившийся перед баррикадой танк развернул башню в сторону ворот; несколькими выстрелами из пушки они были сорваны, и гитлеровцы, настороженно оглядываясь, вошли во двор. Пригнувшись, швырнули несколько гранат в

распахнутые окна полуподвальной квартиры, заглянули в разбитый сарай. Никого.

И тут они увидели деревянный щит. Отшвырнули его, заглянули в подвал. В нем были люди.

— Комм хераус **11!**

Никто не двинулся. Тогда, перегнувшись чуть не вдвое, фашист протянул вниз руку с зажатой в ней гранатой.

— Шнель, шнель **12!**

Первым из подвала вылез Коля Кизим. Он подал руку матери, потом сестренке, помог Коле Беленькому. Нина Нейгоф от помощи отказалась. За ней вышли Игорек, Ольга Федоровна и Владимир Яковлевич, потом отец и сын Зятевы...

Через несколько минут все были наверху. Стараясь держаться подальше от фашистов, люди забились в самый угол двора.

Солдаты, держа на изготовку автоматы, щурили холодные глаза, глядя, как мужчины старались прикрыть женщин, а те выходили вперед, чтобы не бросались в глаза их мужья. Казалось, фашисты ждут команды, чтобы наброситься на беззащитных, безоружных людей. И она прозвучала — резкая, отрывистая, непонятная. Тогда ее повторили по-русски:

— Малшык, мужик, — иди!

Никто не шевельнулся. Лишь Витя подвинулся ближе к отцу, будто подставляя ему плечо, да крепче сжал палку Коля Беленький. Но когда фашисты плотной молчаливой стеной двинулись на них, мужчины сделали шаг вперед, чтобы не пострадали те, кого не касалась эта команда, — женщины и дети. Но их матери и сестры шагнули следом. Тогда гитлеровцы кинулись на людей; они хватали их за руки, били прикладами, оттесняя в сторону мужчин и мальчиков. Когда это удалось им, повернули группу к выходу.

— Комм шнель **13!**

Встревоженные женщины бросились следом, но наткнулись на холодные дула автоматов и резкий окрик «Цурюк!»^[4].

На всю жизнь запомнила Валя, как шел ее брат, которому так и не суждено было стать капитаном дальнего плавания, — гордо подняв голову, глядя прямо перед собой. Рядом, стараясь не отставать от него, волочил искалеченную ногу Коля Беленький. Сжав зубы так, что побелели скулы, прошел мимо помертвевшей Анны Ивановны Василий Петрович, правой рукой крепко обняв Витю, и мальчик все старался подладиться под его широкий тяжелый шаг. Игорек тоже шел рядом с отцом, и по его растерянному лицу было видно, что он никак не может понять, куда и зачем их ведут, почему так грубо оторвали от сестры и матери. У ворот он оглянулся. Глаза его были полны слез.

Сдвинув брови, шли подгоняемые прикладами Лопатин, Козлов, Пилипейко. Ваня бережно поддерживал отца.

Двор опустел. Фашист, шедший последним, деловито поправил болтавшуюся створку ворот и стал у выхода, поигрывая автоматом.

— Цурюк! — прикрикнул он на женщин, когда те бросились к воротам.

Встревоженные, они не знали, что и думать. Может, ничего страшного, просто повели на работу. Фашисты заставляют работать советских людей под страхом смерти.

Женщины стояли неподвижно, как изваяния, чутко прислушиваясь к звукам, которые доносились с улицы. В знойной тишине раздавался негромкий топот ног, но скоро — очень скоро! — он стих. А через несколько минут тишину июльского дня взорвал треск автоматных очередей. Потом крик кого-то из мальчиков, оборванный пистолетными выстрелами.

Валя Кизим слышала выстрелы, чей-то отчаянный крик «мама!», глухой стон женщин. Потом все исчезло. Провалилось в темноту и безмолвие.

Очнулась она дома. Несмотря на жару, Валю бил жестокий озноб. Его не могли унять ни наброшенные матерью одеяла, ни ее горячие слезы, которые лились и лились, обжигая руки, лицо, волосы дочери.

— Ты почему плачешь, мама? Мне страшно, когда ты плачешь.

— Я уже не плачу. Видишь — я вытерла слезы. Спи, родная.

— Мне холодно. И еще — мне очень больно. У меня все болит. Почему, мама? Разве в меня тоже стреляли?

Ее личико вдруг побелело, глаза закатились, дыхание исчезло.

— Доченька моя! — закричала мать и схватила девочку на руки.

Но Валя была жива. Глубокий обморок сменился сном. И тогда забились в рыдания мать...

Неслышно вошедшая в дом Надежда Ивановна молча постояла в дверях, понимая, что нет таких слов, которыми можно утешить сестру, вздохнула горестно и тихо вышла.

Лютое горе вошло почти в каждую семью, и в каждой семье переживали его по-своему. Перепуганная Лиля металась вокруг матери, а та лежала на постели неподвижная, безразличная ко всему на свете. Без слез и без сил. Не было теперь у Анны Ивановны ни мужа, ни сына.

Окаменела в своем горе Ольга Федоровна Нейгоф. Неестественно выпрямившись, сидела она за столом, глядя куда-то сквозь стену. Крепко обняв ее за плечи, стояла Нина. Было совсем уже темно, когда ей удалось наконец привести в чувство мать, уложить в постель.

— Поплачь, мама, тебе станет легче. Поплачь!

Но слез не было, сна тоже. Лишь огромное, леденящее душу горе. Жизнь потеряла с этого дня смысл. Стала ненужной.

Никто не спал в ту страшную ночь. Ни умом, ни сердцем невозможно было примириться с потерей самых близких людей, с тем, что никто из них не войдет больше в дом. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Они мертвы. Но даже к мертвым, к ним нельзя подойти, даже мертвых их нельзя обнять. Слышите? Это постукивают о камни мостовой кованые сапоги фашиста, мерно, как маятник, шагающего взад-вперед по родной их улице, перед домом, во дворе которого совершено страшное злодеяние.

Не смыкала глаз и Надежда Ивановна — где Саша? Может, и его нет в живых? Ее единственного сына, единственной ее радости?..

VIII



Но Саша Дьячков, Яшка и все семиклассники, работавшие на колхозных полях самого восточного в области Ремонтненского района, были живы и здоровы. Когда пришла весть о сдаче Ростова и поползли слухи, что фашисты

высаживают десанты парашютистов далеко за линию фронта — неровен час забросят и в эти края, — председатель колхоза сказал завучу:

— Прости, Николай Петрович, только у меня от своих забот голова трещит. Бери-ка ты свою ребятню да уходи с ними от греха подальше. Все, что можем, дадим в дорогу. Быков самых лучших, подводу самую крепкую, бочку с водой, продукты...

Вернувшись из правления, Ведерников подозвал Сашу Дьячкова, Яшу Загребельного, Володю Давлятова, Володю Ливенцова:

— Вот что, ребята, вы у меня самые старшие, самые сильные. Помогите мне и двум нашим учительницам сохранить детей. Некоторые домой рвутся — этого нельзя допустить: в Ростове фашисты. Мы пойдем на восток. Пойдем по безводным, горячим калмыцким степям. Не буду от вас скрывать — шастает там какая-то банда. Особенно бояться нечего — их уже ловят. Главная наша задача — поддерживать железную дисциплину на всем пути. А путь неблизкий. Да и ехать нам не на поезде, не на машине — на быках, они же, сами понимаете...

— Известное дело: МУ-два, — рассмеялся Яша.

Николай Петрович даже обрадовался этому беспечному, вроде бы и некстати прозвучавшему смеху. Он посмотрел на озорного паренька, который всегда чем-то ему нравился — открытостью, что ли? — и продолжал:

— Пожитки наши будет куда положить. Кто прихворнет или пристанет — место на подводе найдется. А вообще-то — пешим ходом. Тут нужны будут шутка, песня, бодрое слово. И гитара твоя, Яша. За девчат я не беспокоюсь, они посознательнее, а вот с мальчишками что делать — ума не приложу. Все на фронт собрались.

— Не беспокойтесь, Николай Петрович, — сказал Саша. — Мы задачу поняли.

Сборы были недолгими. Наутро несколько подвод, поскрипывая, выехали на большак. Под гитарный перезвон зазвучал хриловатый Яшин голос:

*По долинам и по взгорьям
Шла дивизия в поход,
Чтобы с боем взять Приморье —
Белой армии оплот...*

Песню подхватили, и она пошла вместе с ребятами в долгий и трудный путь.

На следующий день в небольшом лежащем на пути поселке пришлось расстаться с Сашей Дьячковым и Володей Ливенцовым. Они подошли к Николаю Петровичу в сопровождении пожилого старшины, на выцветшей гимнастерке которого золотились две нашивки за ранения:

— Мобилизовали нас, Николай Петрович, — доложили ребята.

И по тому, как посмотрел на них завуч, поняли: догадался, что добровольцами вызвались его помощники. Он и сам бы ушел, да на кого такое войско оставишь?

— Возвращайтесь живыми, — сказал он им на прощание и горячо обнял.

Теперь вся надежда была на Яшку и на Володю Давлятова. Они это понимали, ко всем поручениям относились с полной серьезностью и неукоснительно их исполняли. Полностью разделяли тревогу учителей, когда речь заходила о бандитах — отбиваться-то нечем. Да и некому. Но в разговоре с ребятами Яшка хохотал на всю степь:

— Ха, бандиты! Пусть они нас боятся. Вон нас сколько — дивизия!

Однажды они встретили отряд военных, выехавших, как оказалось, на поимку бандитов. Отряд насчитывал всего человек двенадцать, но кони у них — огонь, от таких не уйдешь. И

запасные есть — как раз два. Для него, Яшки, и для Володи. Как бы это командиру намекнуть, что они ничуть не хуже умеют ездить на конях, чем его бойцы, — зря, что ли, в колхозе два месяца работали? Кто коней купал? Яшка. Кто за почтой мотался, повестки развозил? Опять же он.

Будто подслушав эти его мысли, молоденький лейтенант задумчиво оглядел ораву запыленных, почерневших на безжалостном солнце ребяташек и сказал Николаю Петровичу:

— Держитесь к нам поближе. А для связи дайте пару пацанов постарше да посмелее. Идет?

И Яшка с Володей, гордые, что выбор пал на них, поступили в полное распоряжение командира отряда. Теперь можно было идти хоть на край света! Бандиты нипочем, и заблудиться опасности нет — шли по компасу и военным картам.

— Вода скоро, — заглянув в карту, сказал однажды лейтенант, — можно и на ночлег располагаться. Может, люди есть — юрты обозначены.

— А вон они виднеются, — приподнявшись на стременах проговорил Яша. И, пришпорив коня, поскакал первым.

Выстрел он услышал позже. Сначала что-то резко ударило по пальцам, сжимавшим повод, и в первый момент они будто онемели. Лишь когда потекла кровь, обожгло болью.

Их взяли быстро, бандитов, засевших в юртах и храбрых лишь при встрече с безоружными. Взяли без потерь, если не считать покалеченных пальцев на правой Яшкиной руке.

— Вот ты и отвоевался, браток, — сказал Яшке лейтенант и, поймав его недоуменный взгляд, пояснил: — Рука-то заживет, да только с такими пальчиками на фронт не берут.

Ну, это мы еще посмотрим! И Яша терпеливо подчинялся требованиям Мелиции Михайловны, которая, по его мнению, гораздо чаще, чем требовалось, промывала и перевязывала его рану, приняв на себя обязанности врача.

Красноармейский отряд проводил ребят до самой Волги. Переправившись на левый берег, повернули на север. И то ли потому, что повеяло прохладой — был уже конец августа, — то ли почувствовали наконец, что поход близок к завершению, идти стало легче. Все повеселели, и только Яшка был мрачнее тучи. На клочки разорвал бы он тех бандитов за свои пораненные пальцы! Хоть бы в левую, гады, попали, а то ведь в самую главную. Теперь он ни к какому делу не пригоден...

Но дело нашлось и для Яши. Когда добрались до Саратова, Николай Петрович, распределяя ребят по школам фабрично-заводского обучения, упросил дирекцию зачислить Загребельного Якова в группу поездных кочегаров.

Ни за что не поверили бы мальчишки с Ульяновской улицы, будь они живы, что это он, озорник и непоседа Яшка, распекает на собрании нерадивых и шалунов. А как же иначе? Он теперь комсомолец. Комсорг группы. И ответствен за каждого не перед кем-нибудь, а перед Сражающимся Отечеством!

Пройдет еще год, и Яков сумеет доказать членам комиссии, что годен к военной службе. И вскоре командир роты будет считать его самым незаменимым помощником. Так, во всяком случае, ему будет казаться.

Но кто бы мог предположить, что так удачно начавшуюся Яшкину военную карьеру погубит приобретенная с благословения любимого учителя специальность поездного кочегара: как совершенно необходимый народному хозяйству специалист Яков Власович Загребельный — вместе с другими железнодорожниками — будет демобилизован и отправлен по месту жительства за целый год до окончания войны.

Вот почему появился он в родном городе в первых числах мая 1944 года. Волнуясь, почти бежал, он на свою родную Ульяновскую. Только теперь, когда спускался по проспекту Семашко, нарочно грохоча сапогами, понял Яша до боли в сердце, как дорога ему эта милая улица, как соскучился он по всем ее

обитателям, по друзьям-товарищам. По ворчуну Лопатину, по хлопотливой, всегда веселой Марии Ивановне, по строгой Ольге Федоровне, даже по той вредной бабе, которая — ей-богу, ни за что! — окатила его водой...

Во дворе пусто. Вышедшая на звук его шагов женщина смотрит так, будто он, Яшка, явился с того света. И что значит этот ее захлебнувшийся в слезах крик:

— Яшенька, хоть ты-то живой!..

От Анны Ивановны узнал он о последних шагах друзей.

* * *

Мария Ивановна очнулась от тишины. Она поднялась, медленно подошла к окну. Стекла были выбиты разрывом гранаты, осколки громко хрустнули под ногами, заставив вздрогнуть.

Светила луна, и тени, падающие от домов и деревьев, до неузнаваемости изменили двор. Тот самый, по которому несколько часов назад прошли в последний раз ее сын и его товарищи. Чтобы никогда больше не вернуться.

Надо идти. Набраться сил и идти туда, где лежат их тела. Перенести во двор напротив, что по ту сторону баррикады. Там врыт в землю большой ящик — во время ремонта дома люди хранили в нем известь. Теперь он пуст. Можно опустить туда тела детей, присыпать землей...

Женщина вышла из дому, остановилась на мгновение перед залитой лунным светом беседкой. Сын называл ее штабом. Здесь решали они свои ребячьи дела, наверное, самые важные на свете. Здесь читали, строили кораблики. Справа черным зигзагом обозначилась щель — будто чудовищный косой шрам лег на землю. В той щели нашел спасение Коля Крамаренко. Какое счастье, что она не заставила его идти с собой! Знать бы — всех бы тут укрыла...

Она вышла на улицу, повернула влево и пошла. Туда, где стоит — наискосок через дорогу — приподнятый, будто на пьедестале, небольшой выбеленный известкой дом. От мостовой к нему ведут крутые каменные ступеньки...

Они должны были подняться по этим ступенькам, прежде чем войти во двор, ставший местом казни.

Мария Ивановна замедлила шаг — перед ней был освещенный луной перекресток, на противоположном углу его ходил часовой. Собралась с силами и пошла прямо на него: другого пути не было. Часовой в недоумении остановился, потом шагнул в сторону. Она прошла мимо, высоко держа голову, поднялась по ступенькам, вошла во двор. И вздрогнула: чья-то тень отделилась от стены, шагнула навстречу. Это был Коля Крамаренко.

Мальчуган, оставшийся охранять оружие, долго не решался выйти из своего убежища. Он слышал, как взрывались в соседнем дворе гранаты, как стреляла танковая пушка; слышал доносившиеся непонятно откуда — но откуда-то очень близко — автоматные очереди и хлопки пистолетных выстрелов.

Было уже темно, когда он решился выбраться из щели и войти в дом.

— Где ты был? — кинулась к нему сестренка. — Где?

— Где был — там нету, — попытался он пошутить, хотя сердце его болезненно сжалось, когда увидел полные слез Лилькины глаза. — Что-нибудь случилось?

— Ты ничего не знаешь? Немцы всех постреляли. Колю, Витю, Игорька — всех, понимаешь! И Ваню Зятева, и Колю Беленького...

— Подожди, Лилька! — закричал Коля. — Подожди! Ты, может, путаешь? Как это — постреляли?..

У него закружилась голова, тошнота подступила к горлу, показалось вдруг, что комната наполняется едкой коричневой пылью и сейчас он задохнется в ней...

Потом он долго лежал в каком-то полузабытьи. И вдруг подумал: а может, и не все в том дворе убитые? Может, кто-то ранен, лежит, истекая кровью, притаившись, зная, что внизу ходит часовой. Но ведь можно уйти через соседний двор — там все разбито и, если хорошенько поискать, лазейка отыщется. И он выведет живых!

Только нельзя, чтобы тебя заметил фашист. Выйдя из ворот, надо свернуть не влево, а направо, пройти до Газетного, подняться по нему ка один квартал и уже по той улице, пройдя проспект Семашко, дойти до переулка Подбельского и по нему спуститься на Ульяновскую...

И он пошел, чутко прислушиваясь к ночным шорохам. Нашел в полуразрушенном соседнем доме подходящую лазейку, проник во двор. Осторожно перешагивая через мертвые тела, обошел всех. Живых не было. Ему стало страшно. Он прижался к стенке, стараясь унять дрожь. Перед ним в мертвенном свете луны лежали люди, которым уже никогда не подняться. Среди них — его товарищи, его самые верные, самые надежные друзья. Теперь их нет. Они все убиты...

Кто-то вошел во двор. Женщина... Да, так и есть, это Колина мама. Он протянул к ней руки и позвал шепотом:

— Тетя Маруся, идите сюда, я покажу, где Коля...

Сын лежал лицом вниз, широко раскинув руки, будто обнимая в последний раз родную землю. Она подняла его, не чувствуя тяжести, понесла к выходу. Лишь когда спустилась по крутым ступеням, почувствовала, как подкосились ноги, перестали повиноваться.

Мария Ивановна положила свою драгоценную ношу на мостовую, опустилась рядом. Кто-то наклонился над ней, помог подняться. Это была Нина Нейгоф. Девушка, у которой больше не было ни отца, ни братишки, только окаменевшая от горя мать.

— Фашисты не должны видеть наших слез, — сказала она.

Вместе они подняли тело мальчика, и Мария Ивановна молча показала, куда надо нести.

Часовой посмотрел на них и свернул за угол.

Когда были перенесены тела Игорька, Вити, Вани и Коли Беленького, Нина принесла из дому простыню, прикрыла ею ящик. Сверху присыпала землей.

Ранний летний рассвет тронул небо над Задоньем. Льющийся с востока свет коснулся золотых волос девушки. Нина будто очнулась. Гордо выпрямилась, сказала громко:

— Я отомщу за вас!

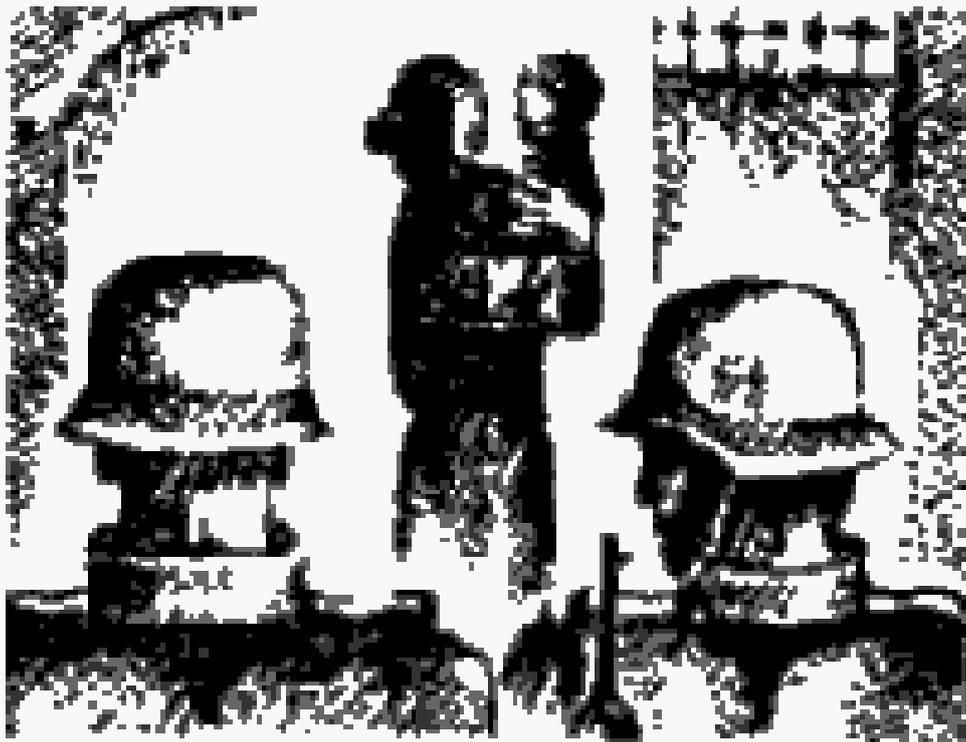
К ней метнулась девочка с распустившимися по плечам темными волосами. Зашептала горячо, сбивчиво:

— Я тоже... отомщу! Ты ведь возьмешь меня, правда? Скажи, что возьмешь?

— Возьму, — коротко, серьезно, как равной, ответила девушка одиннадцатилетней Вале.

И крепко обняла ее...

IX



В одном из опустевших дворов, что ближе к Буденновскому, зияла огромная воронка. В ней-то и решила Мария Ивановна похоронить остальных расстрелянных. Временно — до прихода наших. Она, Людмила Малиновская, дворник Семен Филиппович Мысков и еще несколько человек работали всю ночь и весь следующий день, углубляя и расширяя яму. Работали, не зная, удастся ли им перенести тела; но к вечеру выяснилось, что охрана снята. В этой тайком вырытой братской могиле — вопреки запрету — было похоронено около 50 человек.

А на следующий день Костя, пьянчужка, поступивший на службу к оккупантам, привел их в дом Кизимов.

— Она тут самая главная. Зачинщица. Давай собирайся, нечего на меня глаза пялить. Кончилось ваше время.

Они вывели Марию Ивановну на улицу, грубо оттолкнули бежавшую следом Валю. К девочке подскочила Евдокия Иванникова, соседка по коридору:

— Не надо плакать, отпустят маму — что она такого сделала? Разберутся и отпустят. Вот увидишь, все будет хорошо.

— А куда они ее повели? Я тоже пойду.

— Ну-ну, пойдем вместе. Посмотрим. Подождем — может, сразу и отпустят.

Чуть отстав, стараясь не попадаться на глаза полицаю Косте, как стали теперь называть этого шалапуту и пьяницу жители Ульяновской, женщина и девочка вышли на Красноармейскую.

— В гестапо повели, — нахмурилась тетя Дуся.

Весь день простояли они у ворот, но так ничего и не дождались. На другой день Валя пришла сюда с Надеждой Ивановной, своей тетей, но вновь ни одной весточки не пробилось сквозь глухие стены.

Так прошла неделя, наполненная тревогой и неизвестностью. Вале было страшно в опустевшей квартире, и она всегда радовалась приходу соседки, тети Нади или Нины. Они приносили ей пару вареных картофелин, кусочек хлеба, лепешку пополам с отрубями — у кого что находилось. Утешали ее:

— Не горюй, девочка, побьем фашистов — отец придет. А маму скоро выпустят... Вытри слезки. Вот и хорошо, вот и умница.

Но война подкатывалась уже к берегам Волги, а мама все не возвращалась. Валя долгими часами простаивала перед мрачным домом, вздрагивая всем телом, когда в глухих, еле слышных столах чудился ей голос матери. Часовые сначала прогоняли ее, потом привыкли, перестали замечать.

Не зря приходила девочка на свой страшный пост — однажды широко распахнулись ворота, раздались отрывистые слова команды, и показался неровный строй оборванных, избитых, еле державшихся на ногах людей. Второй справа в третьем ряду шла Мария Ивановна. Платье ее было изорвано, на спине и плечах виднелась сквозь дыры запекшаяся кровь.

Валя подбежала к матери, схватила ее за руку, закричала:

— Мама!

— Дочечка! — выдохнула женщина.

Подскочивший полицай отшвырнул девочку на тротуар и погрозил кулаком. Но она упрямо шла следом, пока колонна не остановилась перед тюрьмой. Когда с лязгом и грохотом закрылись за людьми железные ворота, озадаченная, ничего не понимающая девочка пришла к Надежде Ивановне.

— Тетя Надя, что ли мама жулик? Почему ее посадили в тюрьму?

— Запомни, девочка, фашисты сажают в тюрьму только хороших людей, а всяких жуликов и пьянчуг, вроде этого подонка Кости, на службу к себе берут.

Утром пошли к тюрьме. Расположенный напротив сквер был заполнен людьми. Когда пробирались сквозь толпу, Валя просила:

— Пожалуйста, тетя Надя, скажи им, чтобы нас пустили к маме.

— Пустили... — Надежда Ивановна горько усмехнулась. — Хотя бы передачу приняли, изверги.

— А вы на какую букву? — спросила услышавшая этот разговор женщина.

— Как это — на букву? — не поняла Надежда Ивановна.

— Ну, фамилия — кто там у вас в тюрьме — на какую букву начинается?

— Кизим... На К, значит.

— На К сегодня не принимают — сегодня только на Д, — объяснила женщина. — По алфавиту принимают. До вашей буквы, считайте, еще дня четыре. Если очередь пораньше займете, может, и примут, а сегодня толку не будет.

— А если примут, какой толк? — вмешался в разговор высокий худой старик. — Думаешь, много нашим перепадает?

Вдруг он как-то странно вытянул шею, губы у него побелели, задрожали:

— Приехала... Душегубка, будь проклят тот, кто ее придумал.

— Душе-губка? — медленно проговорила девочка, вникая в страшное сочетание слов.

Появились полицаи. Они оттеснили людей вглубь сквера.

— Ходят тут надо — не надо, покою нет! А ну, осади!

Но едва полицаи удалялись, толпа вновь устремлялась к воротам. Слева от них стоял на рельсах разбитый трамвай, и несколько человек, подбежав к нему, легли на землю: из-под него было лучше видно. Тетя Надя и Валя оказались рядом с дедом, который вдруг заговорил почти торжественно:

— Смотри, девочка, и запоминай. И детям потом расскажи своим, и детям детей, что делали с людьми фашисты. Ты видишь эту серую машину? На кузове нарисованы окошки, издали можно подумать, что это обыкновенный автобус. — Старик передохнул, судорожно, будто ему не хватало воздуха, глотнул. — Слышишь, как воеет у нее мотор? Она такая огромная, что не проходит в ворота. Видишь, подъезжает к ним задним ходом... Сейчас фашисты будут загонять в нее людей — женщин, стариков, даже детей. Они набьют ее до отказа, а когда тронут с места, весь отработанный газ пойдет внутрь. И все погибнут в страшных муках!.. — Голос у старика был хриплый, руки дрожали. — А теперь, — перешел он на шепот, — смотрите туда, под машину. Видите?

— Ноги! — в ужасе прошептала Надежда Ивановна. — Видны ноги...

У девочки зарябило в глазах: ноги — большие, поменьше, совсем крохотные, худые и болезненно вспухшие, белые, смуглые, багрово-синие от кровоподтеков — приближались к машине и, взметнувшись куда-то вверх, исчезали. Теперь она

поняла, почему люди легли на землю: они пытались по ногам узнать своих близких...

Резко, как выстрел, хлопнула дверца. Грузно осевшая машина тяжело отошла от ворот. В последний путь увозили фашистские палачи советских людей, повинных лишь в том, что они любили землю, на которой родились и выросли.

Домой шли быстро, молча. Когда вышли на Ульяновскую, откуда-то потянуло вдруг запахом жареной картошки. У Вали нестерпимо заныло под ложечкой. Интересно, а взрослые тоже все время хотят есть? Девочка заглянула в тети Надино лицо, но ничего не смогла прочесть на нем. «Может, и хотят, но не так сильно», — подумала она со вздохом. И вспомнила, как еще до войны праздновали ее день рождения. В последний раз, когда Вале исполнилось девять лет, мама подарила ей украинский костюмчик, Нина вплела в ее косы яркие ленты, а тетя Надя принесла пирог. Румяный, с хрустящей корочкой. А вкусный!..

Валюшка сглотнула слюну и вдруг выпалила:

— А у меня сегодня день рождения!

— Да что ты? — ахнула тетя Надя и, остановившись, прижала к себе маленькую головку. — Дитё ты мое горькое, племянница моя ненаглядная!..

Она привела к себе девочку, выложила на стол немудреные свои припасы, развязала узелок, который так и не удалось передать сестре.

— Кушай, именинница, кушай, родная. Сиротинушка горькая...

Села рядышком, подпершись рукой, и вдруг вспомнила: ведь родилась ее племянница в лютую, зимнюю ночь, а сейчас на дворе август...

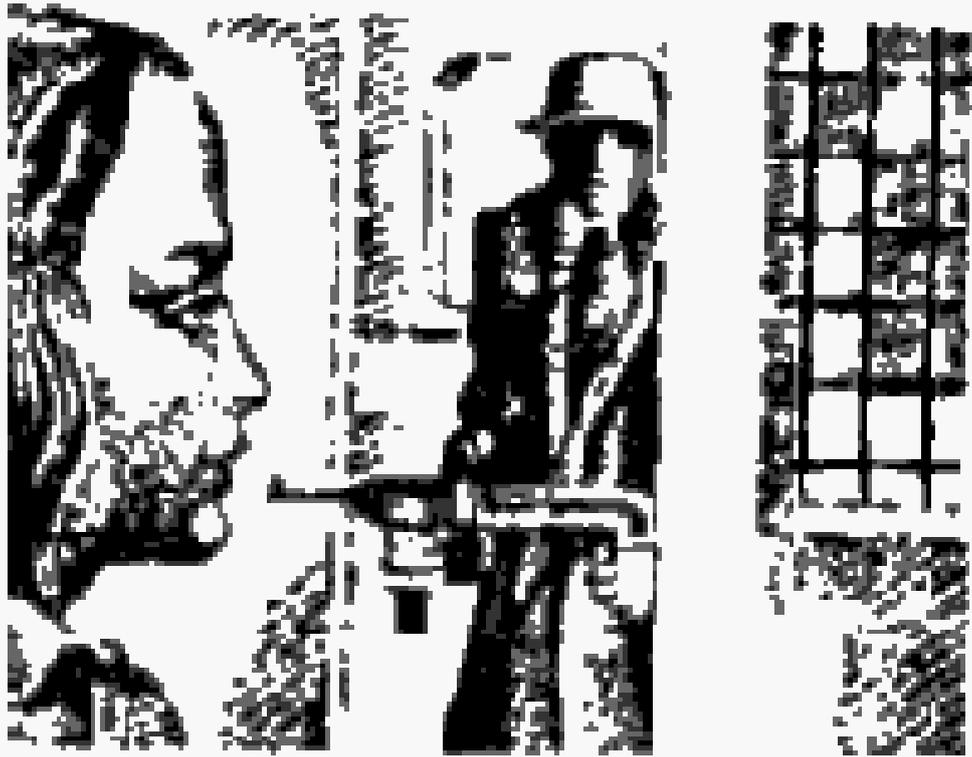
— А это Лиле. Можно? Она ведь тоже сиротинушка.

Зажав в руке вареную картофелину, Валя соскочила со стула, поцеловала тетю Надю и выбежала во двор. Здорово она придумала про день рождения!

Во дворе солнце окутало ее мягкими золотыми лучами, и стало легко-легко. Поверилось в невозможное: вот сейчас она откроет дверь своего дома, а там все: мама, папа, Коля, Коля Беленький, Степа. Вся их большая дружная семья. И никакой тебе войны!

Не перебежала — перелетела девочка через двор, распахнула всегда не запертые двери своего дома, зажмурилась в ожидании чуда. Но никто не подхватил ее на руки, не подбросил к потолку, смеясь и щекоча, — в комнате было сумрачно и пусто.

Валя тяжело вздохнула, вспомнила о зажатой в руке картофелине и пошла в соседний двор к своей маленькой приятельнице, к Лиле, у которой теперь не было ни отца, ни брата.



Весь август ходила Валя к тюрьме, надеясь узнать что-нибудь о судьбе матери.

Спрятавшись в воронку от бомбы или под разбитый трамвай, полными ужаса глазами следила за душегубкой. Однажды ей показалось, что среди тех, кого прикладами загоняли в машину, была мать — такие знакомые смуглые ноги мелькнули под машиной. С криком подбежала она к воротам, весь проем которых был занят душегубкой, но как подкошенная упала, оглушенная прикладом. Кто-то кинулся к ней, подхватил, бережно опустил на траву. Будто сквозь плотную завесу, донесся ропот возмущенных людей, чей-то жалобный всхлип.

Потом она медленно брела домой, страдая от подступавшей к горлу тошноты. Ночью ей снились мамины ноги, смуглые, в кровоподтеках. И было их почему-то очень много...

Утром, преодолевая слабость, Валя снова собралась идти.

— Может, не пойдешь сегодня, Валечка, может, я одна схожу? — уговаривала ее Надежда Ивановна.

— Нет-нет, — торопливо засобиравалась девочка, — сегодня принимают передачи на мамину букву.

Солнце едва взошло, но очередь к окошку, где принимали передачи, была бесконечной. Разве хватит силенок ее выстоять? Даже неизвестно, когда начнут принимать...

Наконец окошко открылось, но очередь почти не двигалась. Валя, сжав в руках узелок, медленно пошла вперед вдоль шеренги безмолвно стоящих людей. Голова у нее кружилась, ноги, покрытые фурункулами, подкашивались.

— Доченька, — окликнула ее женщина, стоявшая почти у самого окошка, — иди сюда, становись. Люди не будут против.

Обрадованная девочка кинулась к ней, но откуда-то вынырнул полицай, следивший за очередью, схватил ее за руку и отшвырнул.

Ей все-таки удалось в тот день передать узелок с продуктами. Не у всех принимали. Случалось, подходила очередь, а вместо «Давай, не задерживай!» слышалось: «Нет такого, на Украину работать отправили». Побелев, отходил человек от окошка, а люди шептали: «Сказали бы прямо — в душегубку...»

«Раз передачу приняли, значит, мама живая», — радовалась Валя. Эта мысль придавала силы, и она почти бежала по своей Ульяновской, спеша поделиться родившимися в ее душе надеждами с тетей Надей, заменившей ей мать, с единственной своей подружкой Лилей...

— Господи, где ты носишься? — всплеснула руками, увидев девочку, тетя Дуся. — Мать уж не знала, где тебя искать, не к тюрьме же идти! Дома она, убежала ночью еще, во время бомбежки. Поначалу боялась показаться дома — вдруг опять заберут, — потом не выдержала. Да не рвись ты в дом — там она...

Сердцем догадалась девочка, где мать. Легче ветра побежала во двор, где захоронены мальчишки. Безмолвно припала к матери, безутешно плакавшей над могилой.

Наутро Мария Ивановна не могла подняться. Изможденная, с глубоко запавшими глазами, она лежала неподвижно, молча.

— Мам, — испуганно тормозила ее дочка. — Вставай, мам. Ну, пожалуйста, вставай.

Мать не двигалась — у нее не было сил.

Приходила Надежда Ивановна, молча стояла у постели сестры. А однажды вынула из чемодана ненадеванный костюм Антона Никаноровича, сказала, вздохнув:

— Не поправишься ты, Мария, с наших харчей. Пойду-ка я по станицам, может, выменяю что. Придет Антоша — новый справим. Согласна?

Мария Ивановна прикрыла воспаленные веки.

— Собирайся, — подошла Надежда Ивановна к Вале, — вдвоем пойдем. За матерью тетя Дуся присмотрит.

Всю свою недолгую жизнь Валя прожила в Ростове. Очень любила красивый, большой, шумный город, свою тихую тенистую улицу. И никуда ее не тянуло. Это Коля мечтал о дальних странах — ей было хорошо и дома. А вот теперь надо куда-то идти.

— Пальтишко прихвати, ночи уже прохладные, может, ночевать в какой копне придется, — Тетя Надя критически осмотрела Валину обувь: — Сандалики-то плохонькие совсем, ну да где и босичком пробежишь...

Они вышли на рассвете, прошли по безлюдным улицам, стараясь не выходить на центральные магистрали, часа через два оказались на окраине. Дальше начиналась степь, покрытая бурой от зноя и пыли травой. По овражкам заманчиво зеленел кустарник, когда поднялось солнце, так и потянуло в его прозрачную тень.

— Рано, детонька, путь у нас дальний. Давай-ка сойдем с дороги, вон по той тропочке пойдем.

— Почему, тетя Надь?

— Машины вроде гудят, а с фашистами лучше не встречаться.

Они шли и шли, а тропке, казалось, конца не будет. Короткий отдых не добавил сил.

— Теть Надь, давай вернемся. Не дойдем мы...

— Дойдем, детонька. У каждой дороги конец есть. Нельзя нам назад поворачивать: видела, мать какая плохая? Били ее в тюрьме, голодом морили. Сил у нее нет жить, понимаешь? Ей хорошее питание надо, бульончик нужен. Она его как поест, так и поднимется. Мы ведь зачем идем-то? Люди пообносились за войну, мы им отцов костюм отдадим, а они нам за это — петушка или курочку, еще чего-нибудь. Не все же фашисты проклятые поели, чтоб им пусто было, чтоб дети их так мучились, как наши мучаются!

— Дети? — удивилась Валя. — Разве у фашистов тоже бывают дети? Что ли они обыкновенные люди?

— Ты права, девочка, не люди они, только дети вот у них есть. Дай бог, чтобы хоть они выросли людьми.

К станции подошли, когда уже стемнело. Постучали в крайнюю хатку.

— Бедное дитё, — запричитала вышедшая на стук женщина. — Ножки-то все как есть посбитые. Испей-ка водички, жалюшка, да ступай в хату. Там братва моя сейчас ложками гоняет, ты к ним подсаживайся, не стесняйся. Иди-иди, не обидят, они у меня добрые, подельчивые.

За столом сидело пятеро ребятишек один другого меньше и уплетали кашу. Увидев девочку, нерешительно остановившуюся в дверях, деловито подвинулись — садись, дескать, с нами. Она продолжала стоять, и тогда тот, что постарше, пробасил важно:

— Чего стоишь? Садись, бери матрину ложку и ешь. Всем хватит.

Необыкновенно вкусной показалась Вале незатейливая пшенная каша, а молоко — прохладное, прямо из погреба — было даже жалко пить: маме бы понести такого!

Спали они в мягком пахучем сене. Еще не рассвело — двинулись в обратный путь. Теперь дорога их не страшила — она вела домой. За плечами у Надежды Ивановны покачивался увесистый мешочек, в руках у девочки смиренно сидел петушок, сверкая золотистыми перышками. Валя что-то ласково ему нашептывала, а ее тетя прикидывала, как лучше распорядиться продуктами, которые удалось выменять на костюм. Курчонка, пожалуй, надо пару недель покормить, очень уж он тощенький, из поздних, видать. А пока — яички, картофельный суп с маслом...

— Пойдем скорее, тетя Надь, а то там мама совсем голодная. Мы сварим ей бульон, и она сразу поправится, правда? Ты сама говорила, что без него ей не подняться. А как похлебают — так и попра...

Девочка будто споткнулась. Не досказав слова, застыла на месте, судорожно сжав онемевшими руками петушка. Тот возмущенно рванулся, но тут же замер, словно понял, в какую беду попала его хозяйка: с автоматами наперевес поперек дороги стояли два немца. Будто из-под земли появились.

— Курка. Гут!^[5] — коротко сказал один из них. И протянул руку к петушку.

— Гут, — подтвердил второй и засмеялся.

— Нет, нет! — дико закричала девочка и высоко подбросила свою золотоперую птицу.

Ошалев от неожиданной свободы, петушок с громким клетотом бросился наутек. За ним, громко плача, кинулась Валя.

Вслед гроыхнули выстрелы.

— Не надо стрелять! Кинд!^[6] У вас тоже есть кинд! — Надежда Ивановна бросилась им в ноги.

Немцы были в хорошем настроении.

— Гут, матка, — махнули они рукой и пошли своей дорогой.

Женщина в изнеможении опустилась на землю.

А Валя как угорелая носилась по степи за обезумевшей от страха птицей, пока не упала на нее, измученная, исцарапанная. Уверовав в целительную силу бульона, больше фашистских пуль, больше всего на свете боялась она упустить петушка.

Теперь шли осторожнее, прислушиваясь, часто сворачивая в кустарник. Домой успели засветло. Мать слабо улыбнулась дочери, погладила золотые петькины крылья, сказала тихо:

— Я уж беспокоиться стала. Намаялась, бедняжечка.

* * *

Едва поднявшись, Мария Ивановна вновь стала надолго исчезать из дому. Если раньше Валя переносила одиночество сравнительно спокойно, то теперь частые и долгие отлучки матери ее сильно беспокоили.

— Куда ты, мам, все ходишь? Увидит полицай Костя и снова в тюрьму отведет.

— Не боюсь я этого подонка. И ты не бойся. Нельзя сейчас по домам отсиживаться — столько горя у людей, столько трудностей, помогать друг другу надо.

— И я хочу помогать. Возьми меня с собой, я ведь уже большая!

— Мала ты еще, — хмурилась мать. — И так повидала больше, чем тебе полагается.

И, как год назад, уходя, строго наказывала:

— Смотри, доченька, из дому никуда!

И снова девочка надолго оставалась наедине со своими думами. Какая-то ненастоящая жизнь, когда фашисты. Никто не заботится, чтобы в магазинах был хлеб. Она уже забыла, какое

бывает молоко. И сахару нет. Идет зима, а где брать дрова? Керосину тоже нету. Обувка вся сносилась, платье разлезлось. Она в первый раз такое видела — берешь в руки, а нитки сами во все стороны расползаются. Пальтишко носит Толикино. А мама ходит в Колиной куртке и, когда надевает ее, всегда отворачивается, чтобы она, Валя, не видела слез. А ей самой так всех жалко, что день и ночь ревела бы. Да что толку? Правильно Яшка говорил, что Москва слезам не верит. Это когда тетя Ксения его в колхоз провожала и плакала. Ей не плакать надо было, а радоваться. Затащили бы его в тот двор вместе со всеми — и прощай. А так живой, может... Все теперь запираются, даже Ольга Федоровна. Нина куда-то подевалась. Лилька говорит, Ольга Федоровна ее прячет, чтобы в Германию не угнали. Придумали тоже — в Германию людей увозить насильно. Никакого закона на них нет, на этих фашистов. Школы не работают, а им хоть бы что. Мама говорит, что это распоследнее дело, когда дети не учатся. А есть как хочется — аж в глазах темнеет! Вчера мама какую-то бурду сварила. Суп это, говорит, а какой уж там суп, даже без соли. Одна мутная водичка. За стакан соли на базаре, говорят, сто рублей платить надо. А где их взять? Что ли на фашистов работать?.. А до войны все было. Солью даже улицы посыпали в гололед, чтоб люди не падали. Мама, правда, говорила, что это непорядок, но разве порядок, когда ее совсем нет? На днях она хлеб принесла. Горький, дымом пахнет. Ругалась на фашистов, что нашу золотую донскую пшеницу вагонами в свою Германию вывозят, а нашим разрешают делать муку только из горелого зерна. Ишь какие!

Всё хвалятся, что нас победят, а у самих ничегошеньки не получается. И не получится. Мы победим. Про это все говорят, она сама это понимает, потому что кто же на такую жизнь согласится?

Жизнь и в самом деле становилась невыносимой, особенно с наступлением холодов. Закутанные в лохмотья дети и

старики рылись в помойках, подбирая остатки пищи, которые выбрасывали из солдатских столовых. Было счастьем найти картофельную кожуру. Дома ее бережно промывали, пропускали через мясорубку и смешивали с отрубями. Люди так и не придумали названия блюду, которое из такого «теста» получалось. Но если подсолить, есть можно. А если соли нет?

Как-то пронесся слух, что у одного причала лежит куча соли, накрытая брезентом. К набережной устремилась делающая толпа, но тут же рассеялась: соль была под охраной. С того дня, едва на город опускались сумерки, в развалинах, которых так много было у набережной, затаивались люди, чаще всего мальчишки, и зорко следили за часовым. Когда тому становилось невмоготу от холода, он уходил греться в будку. И в ту же секунду десятки темных фигур стремглав бросались к цели. Но не успевали они приподнять край тяжелого, заледеневшего брезента, как распахивалась дверь, слышались немецкие ругательства, раздавались выстрелы. Горсть соли могла стоять человеку жизни.

Да, тяжелой была жизнь в оккупированном Ростове. Всякая нечисть вылезла наружу, нацепила полицейские повязки. Стараясь выслужиться перед новой властью, рыскали эти ничтожные людишки по дворам, выпрашивая, высматривая, вынюхивая. Их было мало, но они были — всякие пьянчужки, уголовники, а то и затаившиеся до времени откровенные враги Советской власти. Мы не имеем права забывать об этом. Называть их людьми? Нет, они были презренными выродками.

А люди — настоящие люди — сражались против фашистов. Сражались всюду: на фронте, в глубоком тылу, на временно оккупированной территории.

В Ростове-на-Дону действовало несколько подпольных групп. Самой крупной из них командовал Михаил Михайлович Трифонов-Югов, советский офицер, коммунист, патриот.

Подпольщики не давали покоя фашистам ни днем ни ночью: вспыхивали бензобаки, взлетали на воздух склады с оружием и боеприпасами, оседали на проколотых шинах автомобили, горсть песка выводила из строя танковые моторы. Подпольщики, специально поступившие работать на обувную фабрику, ухитрялись облить кислотой целые штабеля кожи, из которой фашисты намеревались шить сапоги для своих солдат. Юговцы, работавшие в комендатуре, доставали бланки пропусков; врачи Ломова и Котти, рискуя жизнью, выдавали молодым ростовчанам справки о плохом состоянии здоровья, чтобы спасти их от угона в Германию. Пробравшись на работу в столовые, подпольщики снабжали продуктами семьи бойцов Красной Армии.

На всю жизнь сохранили люди благодарную память о подвиге ростовских медиков. Напугав фашистов опасностью эпидемии, они добились разрешения открыть больницы для гражданского населения. Работали день и ночь, ухитрялись в нечеловеческих условиях излечивать самые сложные заболевания.

Ночами просиживали врачи, сочиняя истории болезней на тех, кого лечили от запущенных огнестрельных ран. Таких было много — скрывавшихся в домах ростовчан защитников города, беглецов из концлагерей, раненых, но избежавших ареста подпольщиков.

В одну из таких больниц, расположенную на Кировском проспекте, привела однажды Мария Андреевна Пронина старшего лейтенанта Михаила Батыркина, которого прятала в своем доме с того, памятного всем жителям улицы, июльского дня. У него извлекли из плеча пулю, залечили рану на голове. И еще одна ложная история болезни пополнила больничную картотеку...

Излечив раненого, врачи делали все возможное и невозможное, чтобы снабдить человека документами. Тогда ему

можно было свободно передвигаться. Он мог добраться до линии фронта и вновь влиться в ряды защитников Родины. Или отыскать партизанский отряд. Или создать его сам.

Но снабдить документами всех, кто в этом нуждался, было невозможно, нуждались в них многие. Теперь, когда наши войска, окружив под Сталинградом хваленую 6-ю немецкую армию, неудержимо шли на запад, пленники фашистских лагерей использовали малейшую возможность для побега.

Однако убежать — еще не значило оказаться на свободе. В наводненном фашистами городе нужно было иметь надежное убежище. Вот почему так пристально вглядывались узники в лица женщин, с утра толпившихся у ворот лагеря. Они приходили, чтобы передать пленным хоть немного еды, шепнуть ободряющее слово, а если удастся, сделать и большее — попросить, чтобы отпустили «мужа» или «сына»... Теперь, когда стало ясно, что наших уже не остановить, полицаи стали куда добрее.

Лагерь в Ростове было несколько. Один из них — на углу Донской улицы и переулка Подбельского, в бывших складах. В квартале от дома, где жили семьи Петренко, Пономаренко, Остапенко, Ковтуна.

XI



Я листаю старые записи. Чаще других у ворот лагеря появлялась Юлия Афанасьевна Остапенко. В низко повязанном темном платочке, с большой кастрюлей макарон, укутанной в полотенце, — чтобы не остыли. Упоминание в записях о грузинском военвраче, о свадьбе в этом дворе — очень кратко, отрывочно. Непонятно, кто прятался в домах, а кто — в яме, вырытой в сарае и прикрытой от чужих глаз досками и дровами.

Надо еще раз зайти к Юлии Афанасьевне, к ее соседям, к Александру Семеновичу, который во время первой нашей встречи так разволновался, что не мог говорить и пообещал записать все в тетрадочку. И разыскать песню, которую сочинил на мотив «Коробейников» его товарищ по плену Федя Студнев.

Но читателей и слушателей интересует не только война. И редакционные задания надолго уводят меня от Ульяновской. Надолго, но не навсегда. Я прикипела сердцем к этим людям, их жизнь стала частицей моей жизни. И не только моей!

В 35-й школе, пионерская дружина которой носит имя Альфы Ширази, ребята борются за право присвоить своим отрядам имена Коли Кизима, Вити Проценко, Игоря Нейгофа... Ребята из городского штаба «Поиск» со своим неутомимым руководителем Ксенией Ивановной Красновой записали рассказы матерей и сестер погибших ребят, попросили их помочь им оборудовать в музее стенд. И трепетно приняли самое дорогое, что хранилось в семьях, — рубашки, пионерские галстуки, фотографии.

Зайдя в музей «Пионерская слава» — так называли его штабисты Дворца пионеров, — я увидела рядом с газетной вырезкой знакомую фотографию и с благодарностью подумала о чуде-фотографе.

Кто-то подошел, остановился рядом, проговорил:

— Этих ребят расстреляли фашисты, они...

— Да, я знаю. А вы — Ксения Ивановна? Давно хотела познакомиться с вами. Поблагодарить. Я писала о ребятах с Ульяновской улицы. Как вам удалось разыскать мою статью? Она была опубликована лет семь назад.

— На то мы и следопыты, — протянула мне руку Ксения Ивановна. — Мы и на ваш след уже напали. Готовимся к открытию мемориальной доски на доме № 27 — без вас нельзя.

На торжественное открытие мемориальной доски 24 июля 1970 года пришли пионеры из городских и пригородных лагерей. Море пионерских галстуков. Море цветов. И ребячьи глаза — распахнутые, взволнованные.

Милые мои мальчишки и девчонки, как это прекрасно, что не рвутся рядом с вами бомбы, не терзает вас голод, не мучит тревога о близких. Что вам жить еще долго-долго на этой доброй земле. Учиться, работать, мечтать. Растить своих детей...

Но знаете, о чем я подумала тогда, на митинге, увидев за вашими красногалстучными колоннами молчаливую толпу жителей улицы? Герои моей повести не захотели бы поменяться

с вами — они предпочли бы остаться в своем времени. Никому не уступили бы выпавшего на их долю трудного и высокого счастья — отдать свои жизни во имя Родины. Во имя великого братства людей. Братства, освященного войной.

Никто не приказывал Юлии Афанасьевне Остапенко укрывать у себя Тито Евсеевича Мшвидобадзе. Но она шла на этот смертельный риск, потому что верила: где-нибудь, когда-нибудь, какая-нибудь другая женщина протянет руку помощи ее мужу. А Александр Семенович Пономаренко? Разве мог он, вырвавшись из фашистского плена с помощью товарищей, равнодушно смотреть на тех, кто еще томился в неволе?

А разве не людская чуткость помогла выжить мне, еще не получившей паспорта, и моей десятилетней сестренке, когда мы, взявшись за руки, осенью сорок первого шли на восток? И моей матери, вывезенной из Ленинграда в грузовике на Большую землю по той самой ледовой трассе, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как «Дорога жизни».

А мои фронтовые друзья? А мои подруги? Как же я смела не помнить их? Почему не разыскала до сих пор. Милая Ульяновская, спасибо, что ты разбудила во мне дремавшую совесть!

Я вспомнила рассказ Юлии Афанасьевны о машине с зерном, перечитала, вернувшись домой, письма Михаила Батыркина, переданные мне людьми, которые его спасли. Пришла к Марии Ивановне, чтобы спросить, писал ли ей кто-нибудь. Она вздохнула:

— Война, как Ростов-то освободили, еще и половины своей не переступила. Немногие уцелели... Митя Климов вернулся домой, до сих пор пишет, в Пятигорск к себе приглашает. Дочка его выросла, внуки уже есть. Все собираемся поехать с Валюхой, да никак не соберемся...

А Юлия Афанасьевна ответила на мой вопрос так:

— Поначалу писали. Потом жизнь, видать, закружила. А может, и смерть взяла. Мне вот повезло — муж с фронта живым пришел. Дома сейчас, давайте познакомлю...

Никому из них не приходило в голову назвать подвигом прекрасные движения сердец, объединенных великим испытанием. Не отмечены они и наградами — их просто не хватило бы, этих наград. Но разве не мой долг рассказать людям об этом великом самоотречении? Передать эстафету сердечности новым поколениям...

Очерк я написала без задания редакции, по собственной инициативе. И мне вернули его со словами:

— Повод нужен, понимаете? Мы — газета. Вот если бы кто из них написал или приехал на эту вашу Ульяновскую, ну вот... — редактор взглянул на лежавшие перед ним листы и сказал наугад:

— Мшвидобадзе, например, тогда другой разговор...

Есть люди (я думаю, что им просто скучно жить!), которые не верят в чудеса, да еще и посмеиваются над теми, кто, по их мнению, живет в постоянном ожидании чуда. Им и невдомек, что чуда не ждут. Оно приходит само. И старается выбрать подходящий момент. Например, воскресенье.

Именно в воскресенье раздался короткий звонок. Распахнув дверь, я увидела взволнованного Александра Семеновича Пономаренко.

— Что-нибудь случилось?

— Случилось, — заулыбался Пономаренко. — Приехал Мшвидобадзе!

Тито Евсеевич, высокий, по-юношески стройный, с большими темными глазами, радовался встрече, как малое дитя. Он шутил, звал всех в гости, смеялся, что его искусственный глаз красивее настоящего.

— Правда, Юля? — спрашивал он свою спасительницу, такую сегодня счастливую.

— А почему вы не писали, Тито Евсеевич?

Этот мой вопрос смутил гостя, но, оправившись от смущения, он ответил:

— Понимаешь, приехал я домой — небо синее, горы высокие, река бежит себе с камушка на камушек — как до войны. И так ее, проклятую, забыть хотелось. Потом понял — нельзя...

* * *

Полицаи давно разглядели под темным платочком молодую, красивую женщину. Она часами простаивала у ворот даже в самый лютый холод. Однажды подвыпивший охранник спросил грубовато:

— Муженек, что ль, у тебя тут? Ошиваешься каждый день. Покажь этого красавца — может, и отпущу. Я нонче добрый.

— Да вот он, родненький мой. — Торопясь, чтобы полицай не передумал, Юлия Афанасьевна показала на первого попавшего на глаза мужчину, худого, изможденного, с лихорадочно блестящими глазами.

— Забирай, — махнул рукой полицай. — Толку от него немецкой нации, как от козла молока. Только место занимает.

Иван Лазуткин был первым, кого Юлия Остапенко привела на Ульяновскую. Потом был еще один, еще...

Она прятала их в большой яме, вырытой в сарае. Туда же приводили беглецов и другие жители двора. Как-то Александр Семенович Пономаренко пришел к Юлии Афанасьевне с просьбой:

— Возьми человека к себе в дом: нельзя ему в яме. Глаз у него сильно пораненный, сам слабый, аж шатается. Если что — за мужа выдашь.

— Веди, — согласилась женщина.

Она промыла и перевязала беглецу глаз, сожгла его грязную одежду, нагрела ведро воды.

Был он высоким, красивым человеком, говорил с акцентом.

— Вы кто? — спросила его Юлия.

— Грузин я. Тито Евсеевич Мшвидобадзе. «Мшвидоба» — «с миром» значит. Мирный я человек, а пришлось воевать.

— Все мы мирные, — вздохнула женщина. — И все воюем. Кто как может. Мы вот вам помогаем...

— Мы не забудем этого, — торжественно произнес Мшвидобадзе. И вдруг заволновался: — А может, мне лучше в яме? Найдут меня здесь — вас расстреляют.

— Не найдут, — успокаивала его Юлия Афанасьевна. — Вас же никто не видел.

— Мальчик видел. Вдруг начнут спрашивать — испугается, расскажет. Ребенок ведь...

— Плохо вы знаете наших мальчишек, — мягко возразила женщина. — Они жизни кладут, чтобы спасти вас, защитников наших. У этого мальчика, у Коли Петренко, фашисты всех друзей порасстреляли. Он говорит: за всех пятерых мне теперь нашим помогать надо. Целыми днями по городу ходит, продукты ищет. В яме видели, сколько людей? Всех покормить надо. А фашистов мы не боимся: у нас во дворе полицаи живут.

— Ч-что? — изумился Тито Евсеевич.

— Полицаи. Только он свой, понимаете?

— Как это — свой?

— Долго объяснять. В другой раз. А сейчас — в постель. Если вдруг с проверкой придут — вы мой муж. У вас тиф. Увидите, фашистов как ветром сдует. Они одного этого слова боятся хуже заразы.

А в яме становилось все теснее. И однажды Александр Семенович, дождавшись темноты, осторожно, чтобы не привлечь внимания, вошел во двор Кизимов; погруженный в непроглядный мрак приземистый домик казался вымершим. Но на тихий стук дверь открылась немедленно:

— Это ты, Семеныч? Заходи.

Мария Ивановна поправила светомаскировочные шторы, прибавила огня в лампе, оглянулась на спящую дочь. Та уже приподнялась, глядя на мать большими встревоженными глазами.

— Спи, доченька, это дядя Саша. Не бойся, я никуда не уйду.

Валя опустила на подушку взлохмаченную головку, плотно укуталась в одеяло, но сон не шел. Вот уже много месяцев живет она в постоянном, не проходящем беспокойстве за мать. Когда она долго не приходит, чудится девочке самое страшное: вырастает, будто из-под земли, Костя-полицай в своих до блеска начищенных новых сапогах, хватает маму за руки и тащит в тюрьму. Ей слышатся выстрелы, и она замирает в ужасе: не в маму ли это летят пули?.. О чем говорит дядя Саша? Может, уже наши вошли в Ростов! Нет, если б это было так, они бы не шептались, а кричали от радости! Ну ладно, пусть себе разговаривают... И девочка засыпает, успокоенная: мама дома, а это — главное.

— С чем пожаловал, Семеныч? — спросила гостя Мария Ивановна. — Кипяточку хочешь?

— Не до кипяточку. Дело серьезное есть. Наши-то вон как идут, никакая сила их теперь не удержит! Фашисты забежали, засуетились. Злобу свою да бессилие могут на пленных выместить. В тюрьме, говорят, расстрелы каждый день. Как бы до лагерей не добрались. Людей нужно как можно больше повывести. Возможность такая есть — немцы всё полицаям передоверили, а тех будто подменили, чуть не помогать нам кидаются. Главное сейчас — найти надежное убежище. У нас все позабито, в яме полно, соседи поосмелели, как Григорий у нас поселился: кто тяжелый — в дом берут. Ты Ульяновскую вдоль и поперек знаешь. Может, есть что на примете?

— Веди, Семеныч. Люди у нас надежные, убежище — лучше не сыскать. Церковный подвал знаешь, что в нашем дворе? Ну, под яслями... Его так завалило, что один лаз остался, да и то, если не знаешь где — сроду не догадаешься. Туда и попрячем. Ты-то как из плена выбрался?

— Длинный это рассказ, Мария, — хотел отмахнуться Пономаренко.

— Ничего, до утра далеко. А ночью никуда не пущу. Беречь тебя надо пуще глаза. Раз у тебя такая ниточка, что людей спасти можешь, нельзя ее оборвать. Вот и сиди, рассказывай. А чтоб поуютнее было, кипяточку я все-таки спровоторю. Бороду свою погреешь. Чего ты ее, такую страшную, отрастил? Дочь родная и та, говорят, не сразу тебя признала.

— Все-то ты, Мария, знаешь, — улыбнулся Александр Семенович.

— Не все, потому и расспрашиваю. Мой тоже где-то мается. Весточек, почитай, с год уж нету...

И Пономаренко начал свой нелегкий рассказ.

Целый месяц пробивалась их часть из окружения, да так и не пробилась. Кто смерть в бою принял, кому не повезло еще больше — в фашистский плен попал. Оттуда, из-под Харькова, привезли их в Белгород. Поле, окруженное колючей проволокой, по углам вышки с пулеметами — вот и весь лагерь. Солнце ли палит, дождь — укрыться негде. Раз в день давали по черпаку зловонной баланды, воды не было. За день человек по двести выносили за ограду.

Узнав, что отправляют в Кременчуг, обрадовались: может, полегче будет. Но там увидели то же самое. Разве что поместили в бараке да в баланде появлялись иной раз капустные листья. Зато работать заставляли, пока не упадешь, и били нещадно за малейшую провинность. Попытаться бежать? Нашелся такой смельчак, но далеко не ушел — поймали. Выстроили весь лагерь и на глазах у всех забили до смерти.

Были такие, что не выдерживали, кончали самоубийством. Но самые сильные и смелые не теряли надежды выжить. Помогали друг другу. Как в тот памятный для Александра Семеновича день, когда пришлось ему работать на плоту. Вообще-то он был сапожником, но держал это свое ремесло в тайне — чтоб не заставили шить сапоги для немцев. Уж лучше вместе со всеми, чем прислуживать.

Они строили мост через Днепр. Старались работать как можно медленнее; оправдывались тем, что не строители, что дела этого не знают, но Александр Семенович видел: нарочно тянут. Вредят. Вот один из пленников незаметно пододвинул к самому краю плота ящик с гвоздями. При первой же волне он соскользнул в воду. Другой таким же образом отправил на дно ящик с инструментами. Фашисты орали, размахивали плетками, а виновных вроде бы не было. Тогда гитлеровцы, сидя на берегу, стали внимательно следить за каждым. И когда выпала из рук Александра Семеновича стамеска, которой он долбил в свае отверстие для болта, и с плеском упала в воду, белый от ярости фашист приказал достать ее. Иначе...

Найти в Днепре? Да он и плавать-то не умеет! Со свистом разрезает воздух резиновая плеть. Еще... И уже откуда-то издалека доносится до Александра Семеновича визгливый крик фашиста. О чем это он? Ах да... стамеска. Ее надо достать. Еще один удар болью отзывается во всем теле. Надо лезть в воду. Хоть на несколько мгновений оттянуть неизбежную смерть.

Шатаясь, подходит Пономаренко к воде, погружается в нее. И тут же всплывает, отчаянно загребая руками, хватая воздух широко раскрытым ртом. Он карабкается по скользкому глинистому откосу, но резкий удар плети гонит его обратно в воду...

С ужасом наблюдают пленники за этим страшным поединком. Они знают: не достанет Пономаренко стамеску — смерть.

А тому уже все равно — захлебнуться в воде или принять пулю. Лучше уж пулю. Меньше мучиться. Человек медленно поднимается на берег. И так же медленно поднимается ему навстречу рука с пистолетом.

Но вышел парень — кожа да кости, — сказал:

— Не стреляйте, я достану.

И нырнул. Когда вынырнул — в руках у него была стамеска. Выстрела не прозвучало.

Однажды к Александру Семеновичу подошел земляк, работавший в немецкой столовой. Протянул кусочек хлеба, проговорил с тоской:

— Бригаду плотников в Ростов направляют. Узнаю какую — скажу. Может, приведется тебе донской водички испить, своих повидать...

На следующий день Пономаренко, получивший самые точные сведения, упрашивал бригадира соседней бригады взять его к себе. Дочку-красавицу в жены отдать обещал... А почему нет? Парень видный, может, и приглянется дочери.

Бригадир покосился на него, на свою полицейскую повязку.

— Я видел, как тебе ее цепляли, — сказал ростовчанин.

Он и в самом деле помнил, как построили их однажды в колонну, спросили, кто будет старшим; не дождавшись ответа, вытолкнули из рядов высокого, статного парня. Пригрозив, что расстреляют, если он посмеет снять повязку, назначили старшим. Может, скинул бы ее Григорий Базыкин при случае, да товарищи упростили: лучше ты, чем какой-нибудь из «добровольцев». Он и сам это понимал отлично, хоть иной раз и рисковал своим положением: отпускал людей раздобыть хлеба, потом делил его на всю бригаду.

Хмурым осенним утром поезд остановился в Ростове. Болью сжалось сердце старого ростовчанина, когда увидел он

руины на Привокзальной площади, на главной улице города. Вот и Буденновский. Сейчас свернуть бы вправо!..

Он не поверил своим ушам, когда услышал команду: «Левое плечо вперед!» Куда их ведут? На мост? А оттуда?.. Но до моста они не дошли — еще одна команда, и строй повернул... на Ульяновскую! Александр Семенович чувствовал, что еще немного, и у него разорвется сердце: несколько десятков шагов отделяли его от дома. От жены и дочери. Живы ли они?

Плотников разместили в том самом лагере, у ворот которого так часто появлялась Юлия Остапенко. Не сразу признала она в исхудавшем, состарившемся человеке соседа по двору.

— С бородой-то я тебя сроду не видела, Семеныч, — оправдывалась она, отвечая на его укоризненный взгляд.

Не сразу узнала отца и Нина, прибежавшая через несколько минут к лагерю вместе с Юлией Афанасьевной.

* * *

Никогда еще комендант лагеря не носил таких изящных сапожек, как те, которые сшил ему этот старательный русский. Сразу видно, что уважает новых хозяев. О, он умеет — как это по-русски? — да, бить благодарность. У него здесь семья? Он разрешает ему ночевать дома. Нет-нет, работать — в лагере. Он будет его отпускать только на ночь, а чтобы самому спать спокойно, пусть пойдет с ним на квартиру полицай. Какой — ему, коменданту, все равно. Базыкин? Гут. Хорошо.

Наутро все во дворе знали: Семеныча за какие-то заслуги перед фашистами — не иначе — выпустили из лагеря. Вместе с ним, вроде как на квартиру, пришел полицай. Но вскоре все прояснилось, и люди вздохнули с облегчением. Операция по спасению пленных продолжалась, и в ней самое горячее участие принимали Александр Семенович Пономаренко и Григорий

Базыкин. Это им удалось однажды вывести из лагеря тяжело раненного капитана медицинской службы Тито Евсеевича Мшвидобадзе и почти весь состав плотницкой бригады. Григорий объяснил, что они работают на объекте, расположенном на другом конце города, и он будто бы устроил их на ночлег в другом лагере — чтобы не терять время на переходы...

— Вот теперь все понятно, — проговорила Мария Ивановна, когда ночной гость закончил рассказ. — А то прямо как с неба упал в свой двор, да еще и с ангелом-хранителем. Значит, договорились. Сколько надо, столько и спрячу. Будут они в церковном подвале, как у Христа за пазухой. И накормить постараюсь — люди помогут, они у нас золотые. Последний кусок отдадут.

— Одной не трудно будет? — спросил Александр Семенович. — Помощников-то твоих, слышал, расстреляли... Изверги — на детей рука поднялась.

— За все с них спросим, Семеныч, а за детей особо. Не будет им за них прощения ни на земле, ни на небе. А помощники найдутся. Вон одна посапывает, давно помогать мне рвется. Все боялась из дому выпускать, чтоб горя людского меньше видела; а может, так и надо — чтобы все помнила, все знала об этом жестоком времени...

Утром Мария Ивановна сказала дочери:

— Что-то ты, Валюха, давно не просишься ко мне в помощники?

— Чего проситься, все равно не возьмешь. Все равно думаешь, что я маленькая, — нахмурилась девочка.

— Какая ж ты маленькая? Двенадцатый год пошел. Одевайся потеплее, на дворе холод собачий, и пойдем.

Девочка чуть не запрыгала от радости, Наконец-то ее стали считать взрослым человеком. Она еще плохо представляет,

какую помощь ждет от нее мама, но знает точно: стараться будет изо всех сил!

— А куда мы пойдем, мама? Далеко?

— Пока близко — в своем дворе работа есть. Бери веник, ведро, тряпку, будем наводить порядок в церковном подвале, а то, как в ясли упала вторая бомба, и его совсем завалило, туда никто не ходил.

— А нам он зачем? Мы же от бомб в щель прячемся.

— Значит, нужен, — ответила Мария Ивановна, помогая девочке застегнуть верхнюю пуговку. Толик ее сроду не застегивал, и петелька была тугая-претугая.

Они отыскивали среди развалин еле заметный лаз, пробрались в подвал. Было здесь холодно, сыро и так темно, что Валя даже испугалась. Не темноты, а того, что ничего не видно. Как же убирать?

— Давай зажмуримся, — посоветовала Мария Ивановна. — Зажмурилась? Теперь считай до ста. Давай вместе: один, два, три... Только, чур, глаза не открывать!

Когда досчитали до пятидесяти, решили: хватит. Валя открыла глаза и удивилась: оказывается, в подвале совсем не темно. И хотя она поняла, что это просто глаза привыкли к темноте, ей хотелось думать, что мама у нее волшебница.

Подвал и в самом деле оказался запущенным, и они провозились полдня, пока привели его в относительный порядок.

— Ну что, довольна? — спросила дочку Мария Ивановна, когда, усталые и запыленные, они выбрались наконец из убежища и пошли домой.

— Да, — весело тряхнула головой Валя. — Только зачем он нужен, этот подвал?

— Много будешь знать — скоро состаришься, — засмеялась мать. — А сейчас давай-ка вытряхнем пыль из одежды, посмотри, на кого мы похожи.

После подвала в комнате показалось тепло и уютно. Мама затопила печку, сварила затируху. Это когда в воде муку разболтаешь и вскипятишь. Если есть чем посолить — за уши не оттянешь. Теперь поспать бы... Но мама снова куда-то засобиравалась.

— А я? — насторожилась Валя.

— Если тебе не хочется сидеть в тепле — одевайся, пойдем. Только теперь работа у нас будет потруднее!

— Ничего, справлюсь. Я все умею делать!

— А просить?

— Что просить? — не поняла девочка.

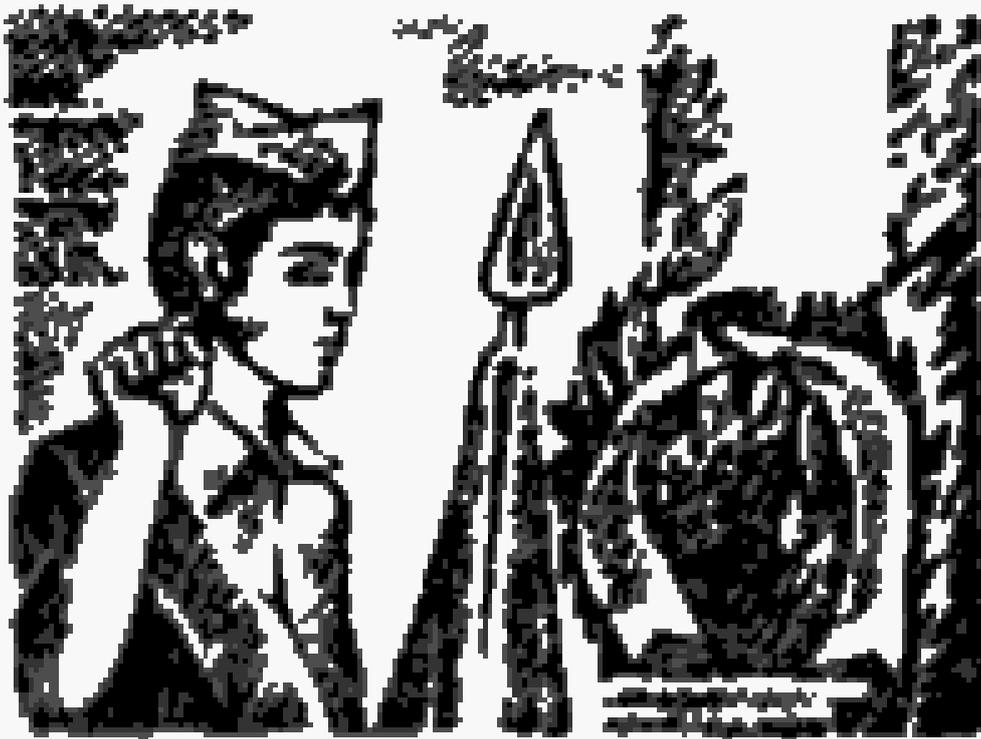
— Послушай-ка, дочка, что я скажу. Вот уже полтора года идет война. Ты знаешь, как живут люди?

— Знаю. Плохо живут. Как мы.

— Правильно, плохо. Голодают, ходят раздетыми, последние вещички на хлеб да мыло меняют. И вот у этих людей мы должны просить последнее. Потому что в подвале, где мы только что навели порядок, будут жить люди. Помнишь, как немцы в первый раз пришли, ты все спрашивала, куда это Коля бегает, кому еду носит? Он и его товарищи пленным помогали. Помогли им выжить. Теперь мы должны помочь. Другим, кто в беду попал. Всем миром помочь — кто бежать поможет, кто спрячет, кто накормит... Вот я и спрашиваю: сможешь ты просить у людей?

— Смогу, — твердо ответила Валя. И добавила: — Я ведь не для себя...

XII



Ох, уж эти телефонные звонки. Можно сразу идти одеваться — обязательно куда-нибудь позовут. Так и есть. Звонят ребята из 91-й школы:

— Вы нас помните?..

Будто я могу забыть! Эта школа — на самой окраине поселка имени Чкалова, туда надо добираться с двумя пересадками.

— Сегодня без пересадок, — радуются за меня ребята. — Мы ждем вас не в школе...

Я записываю адрес и, пока еду в троллейбусе, гадаю, какой сюрприз приготовили мне орлята 91-й школы, те самые, что в один из дней освобождения Ростова пришли на Ульяновскую улицу и усыпали фиалками и подснежниками весь двор дома № 27.

Я нашла ребят в квартире Куцепиных. Они пришли к человеку, имя которого узнали в Таганрогском музее краеведения, там они заканчивали поход по местам боев на

Миус-фронте. Гвардии капитан Куцепин, первым ворвавшийся в Таганрог с ротой автоматчиков, был награжден орденом Александра Невского! Они узнали, что Василий Тимофеевич еще совсем мальчишкой партизанил вместе с Сергеем Лазо, устанавливал Советскую власть на Дальнем Востоке. И что он жив. И живет в Ростове!

Пропыленные в пятидневном походе, с рюкзаками, набитыми осколками войны, с охапками душистых полевых цветов пришли они к нему прямо с вокзала. И увидели человека, прикованного к постели. Он не может подняться, не может пошевелить своей единственной рукой. Война отняла у него даже речь. Но в мерцающих глазах светится разум. А сейчас в них радость! Повязанный ребятами пионерский галстук бросает живые блики на его бледное лицо, губы шевелятся: ребята поют, и он пытается подхватить мелодию...

Это была первая встреча ребят с подвигом и мужеством. И верностью тоже. Потому что сердцами своими поняли мальчишки и девчонки: только любовь Елизаветы Григорьевны, жены Куцепина, помогла вырвать его из рук смерти, только любовь помогает ей вершить этот каждодневный подвиг верности.

Много лет будут приходить они в этот дом, принося с собой дыхание жизни, а когда вырастут — приведут сюда своих детей.

Я вспомнила сейчас об этом потому, что в одной из поздравительных открыток куцепинцы напишут: «Наш путь на улицу Серафимовича проходил через Ульяновскую».

Через ту улицу, по которой далеким студеным днем шагала рядом с матерью девочка в старенькой вязаной шапочке.

Когда Мария Ивановна постучала в первый дом, сердце ее гулко забилося. Но уже через минуту страх сменился острой жалостью.

— Извиняйте, что не прибрано, — встретила их хозяйка холодного, неуютного дома. — Как на сына похоронка пришла — будто подкосило меня. Ни жить, ни дышать, ни плакать... Спасибо людям — кто водички принесет, кто едой поделится, а мальчуганы, смотришь, дровишек подкинут...

— Дровишек и мы вечерком притащим, — пообещала Мария Ивановна. — А сейчас просьба великая: может, чашка-кружка лишняя заваялась, одеялко какое старое. Зачем — не спрашивай, надо.

— Все, что видишь, то и бери, раз надо.

У Вали горели щеки, когда она помогала матери укладывать сумку. Ей было нестерпимо жарко в этой ледяной комнате. Просить, даже если не для себя, все равно трудно...

В соседнем доме были одни ребяташки.

— А мамка где? — спросила Мария Ивановна у закутанного в невероятное тряпье мальчугана лет семи.

— Там, — неопределенно махнул он рукой. И добавил: — Еду ищет. А то ревут — никакого сладу нет. — Он кивнул в сторону малышей, сидящих, тесно прижавшись друг к другу, на кровати с глубоко провалившейся сеткой. Их было трое, один одного меньше. — Несознательные они, не понимают, что война, — оправдывал он своих братиков.

— Пойдем, — нетерпеливо шепнула матери Валя и потянула ее за рукав.

— Пойдем, дочка. Здесь грех что-нибудь просить.

Они перешли улицу наискосок, постучали в окошко. Шторка дрогнула, за стеклом показалось испуганное женское

лицо. Увидев Марию Ивановну, женщина успокоилась и гостеприимно распахнула двери. Даже не дослушала — метнулась в кладовку, вытащила оттуда матрац, две подушки, старый ковер и два одеяла. Тюки получились довольно внушительные, и она подхватила один из них, донесла до кизимовского дома.

Узнав, в чем дело, засуетились соседки, прибежал Коля Крамаренко, и к вечеру в тесной квартире Марии Ивановны негде было повернуться.

Когда стемнело, вещи были перенесены в подвал. Матрацы разложили в ряд, подальше от сырых, холодных стен. Прикрыли одеялами. На большом ящике разложили чашки, кружки, тарелки. Посредине поставили лампу.

— Как тут хорошо стало! — радовалась Валя.

Очень ей хотелось, чтобы исстрадавшиеся в неволе люди, чудом вырвавшиеся из плена, нашли в этом подвале хоть капельку тепла и уюта.

— Вот бы печку поставить, — мечтала она вслух.

— Нельзя печку — дым-то куда поползет? На улицу. Фашисты враз догадаются. Мы вот с тобой сейчас выйдем да лаз этот понадежнее прикроем.

— Мам, а хочешь, я буду караулить?

— Все мы будем караулить, когда люди там будут. А пока подумать надо, чем их кормить.

— У нас же есть ячменная мука, мы им затирки наварим!

— Умница ты у меня, доченька, — похвалила Валю мать, любуясь ее покрасневшимся личиком. И снова, в который уже раз, зашло сердце нестерпимой болью при воспоминании о погибших своих и чужих детях...

Спала в эту ночь Валя спокойно и крепко, как до войны. Она не слышала легкого стука в кухонное окно, разбудившего мать; не проснулась от света зажженной ею лампы; ее не разбудили даже голоса.

— Принимай, Мария, — трое пока. Если у тебя все готово, приведу еще.

— Веди. А я печку затоплю, воды нагреею... Ночью у нас тихо.

Под утро еще несколько теней скользнуло в низенький, похожий на сарай, домик Кизимов, и снова девочка не проснулась. А когда открыла глаза, в доме было светло, тихо и почему-то очень тепло.

— Мам, — позвала девочка, — какой я сон видела! Как будто в подвале уже живут.

— Раз живут, вставать надо. Завтрак готовить.

— Так это ж во сне, — засмеялась Валя.

— Это у тебя во сне, а у меня — наяву!

Мария Ивановна улыбнулась, увидев, как у дочки вытянулось личико, и продолжала:

— Сейчас кашу пшеничную варить будем. Целое ведро надо! Вот какая у нас теперь семья. Вставай-ка пшено перебирать.

Если кто-нибудь из вас думает, что это очень просто — перебирать пшено, — значит, он никогда этой работой не занимался. Больше часа стояла девочка, склонившись над столом, пока не выбрала из крупы все камешки. Как будто нарочно кто горсть песку покрупнее сыпанул в банку с пшеном, чтобы ей, Валюхе, задать работу. Было даже некогда поздороваться с Колей Крамаренко, который заглянул в дверь и спросил:

— Тетя Маруся, соли надо? Я принесу...

— Надо, Колюшка, еще как надо. Только ты поосторожней — знаю ведь, где берешь.

— Ничего страшного, часовой больше в будке отсиживается. Да и не до соли им теперь: я вчера листовку читал — наши к Ростову подходят. Ура!

— Рано еще «ура!» кричать. Лучше давай-ка чашку, положу вам кашку. Как там Лилечка, не хворает?

— Не, только скучная какая-то. При мне — ничего, а как откуда приду — глаза красные. Ревела, значит. Я уж ругал...

— Ругать не надо. По маме она плачет. Ты лучше почаще ее к нам присылай.

Каша получилась рассыпчатая, душистая, без единого камушка.

— Мам, я отнесу в подвал. Можно?

— Нет, доча. Ведро тяжелое, горячее. Лучше ты у ворот постой. Как кто чужой появится — сразу ко мне? Поняла?

— Поняла.

Скупое зимнее солнце, пробившись сквозь тучи, освещало двор холодными косыми лучами. Неровная тень от развалин, внутри которых был вход в подвал, доставала почти до ворот. «Никто не догадается, что там люди!» — тихо радовалась Валя. На душе у нее было светло. Она знала: Коля похвалил бы ее, обязательно похвалил бы.

Солнце скрылось, и улица сразу стала унылой и неприветливой. Замерзшие стволы деревьев дрогнули от ветра и загудели, как телеграфные столбы. Какой-то мальчик в длинной телогрейке и надвинутой на самые глаза ушанке, согнувшись под тяжестью объемистого мешка, шел прямо к ней.

— Мать дома? — спросил он, подойдя.

Валя отрицательно качнула головой, с трудом признав в исхудавшем глазастом мальчугане Колю Петренко.

— Ты? — удивилась она. — Зачем тебе моя мама?

— Мешок ей велено передать. Ячмень там. И мельничка, зерна молоть. Чтоб мука получилась, понимаешь?

— Понимаю, не маленькая. Давай твой мешок. Мама придет — передам.

— Тяжелый он, — с сомнением глядя на стоявшую перед ним хрупкую девочку сказал Коля. — Может, к дому поднести?

— Ничего. Сама донесу.

Мальчик хотел еще что-то сказать, но светлые Валины глаза вдруг потемнели, стали строгими, как у взрослой, и он, сбросив у ее ног свою тяжелую ношу, зашагал обратно, удивляясь, с чего бы это ей в такой холод торчать у ворот.

— Замерзла, доченька? — услышала Валя голос матери. — Пойдем домой. А это что?

Услышав, что мешок с ячменем принес Коля Петренко, мама ничуть не удивилась, просто сказала, что он молодец. Любого мужика стоит.

* * *

Коля Петренко и в самом деле оказался настоящим мальчишкой. Каждое утро, еще затемно, тростиночкой сгибаясь под свирепым зимним ветром, шел он, держа за веревку санки, по родной своей Ульяновской. Не с горки кататься — на заработки.

Спать бы мальчугану в такой ранний час, а он шагает по безлюдной улице, мимо обугленных развалин — к Дону. Скатывается вниз с крутого берега, осторожно ступает на припорошенный снегом неровный лед. Спешит на ту сторону, зорко высматривая в скупом свете зимнего утра столпившихся там людей. По мосту ходить запрещено, перебирайся через Дон, как знаешь. И люди терпеливо ждут мальчика с санками, который поможет им перетащить груз.

— Мы уж думали, не придешь в такую-то стужу, — ласково говорят ему женщины.

— Семейю кормить надо, — солидно отвечает Коля.

— Ах ты, кормилец, — жалеют они его. — Что война проклятая понаделала! Тебе годков-то сколько? Тринадцать! Ах ты, жалюшка...

Причитая, грузят они свои оклунки, перевязывают их веревкой, крепят к санкам.

— Пошли, дите...

Осторожно, чтоб не перекинулись, спускает он на лед санки. Интересное дело: сюда шел — ветер в лицо, обратно — тоже. Тонкие веревки глубоко врезаются в плечи — хоть бы не лопнули!

На середине реки Коле становится жарко, а когда он втаскивает свой нелегкий груз на высокий берег, у него перехватывает дыхание.

— Запалился, сердешный, — замечают женщины. — Отдохни малость.

Самый драгоценный груз — кукурузу, пшеницу, картошку — привозит Коля на базар.

— Христос тебя спаси, — говорят ему женщины. И суют в карманы старого отцовского ватника пару картофелин, лепешку, а иногда чего и получше, как вчера, например, когда получил он в уплату кусок сала. Белого, с розовыми прожилками.

Только вы не подумайте, что он жадный, Коля Петренко. Он и за так помог бы людям перебраться, да что поделаешь, когда и самим есть хочется, и людей кормить надо — тех, кого удалось вывести из лагеря и спрятать.

Но сегодня что-то пусто на том берегу. Может, пока переберется, кто-нибудь подойдет?

Было уже совсем светло, когда санки, со звоном перепрыгивавшие с одной ледяной кочки на другую, легко заскользили по припорошенному снегом пологому левому берегу. Мальчик остановился, согревая дыханием замерзшие пальцы и недоуменно поглядывая по сторонам: холод, что ли, помешал людям? Или продавать им уже нечего?

Коля посмотрел на заалевший восток, на дорогу, и вдруг замер: прямо на мост двигалась колонна. И побей его гром, если это не наши! У него зоркие глаза, он же точно видит — они в красноармейских шинелях! На секунду промелькнула радость: неужели наши пришли! Но тут же потухла. Они идут,

поддерживая друг друга, а по сторонам — фашисты с автоматами.

— Пленные! — простонал Коля.

В бессильном отчаянии он сжимает кулаки. И почему он так медленно растет! Сколько уж она идет, эта война, целых полтора года, а он все маленький. И если что — толку от него никакого. Может, он просто никудышный? Будь сейчас на его месте Коля Кизим, обязательно что-нибудь придумал бы. Он и его друзья спасли бы этих людей!..

Тяжело ступая, проходят они мимо, не обращая внимания на недвижно стоящего мальчугана. Да и что на него смотреть-то... И вдруг:

— Малец!.. Помоги бежать...

Кто произнес эти слова? Или ему показалось? Да нет, он точно слышал! Здесь, в этой колонне, кто-то ждет от него помощи, кто-то на него надеется. Может, вон те трое, в командирских шинелях?

— Не здесь, там! — выкрикнул неизвестно кому мальчик, и, взмахнув руками, скатился на лед.

Коля бежал, скользя и падая, позабыв о санках, о часовом на мосту, обо всем на свете. Надо обогнать колонну, обогнать во чтобы то ни стало. Первым добраться до развалин, успеть осмотреться, подумать, какой путь безопаснее и надежнее.

Не переводя дыхания, почти на четвереньках вскарабкался он на высокий правый берег и скрылся в руинах огромного дома. Успел!

Через несколько минут с развалинами поравнялась колонна. Теперь люди проходят совсем близко, еще ближе, чем там, у моста. Хорошо видны лица, но на них ничего, кроме смертельной усталости. И безнадежности. Но ведь должны же были те, что крикнули, понять: не в голом поле, а здесь, среди городских руин, он еще чем-то может помочь!

Вот и командиры. Идут, напряженно выпрямившись, будто прислушиваясь к чему-то. Один оглянулся — и в тот же миг Коля, резко взмахнув рукой, кинулся в глубину разрушенного дома. За ним — те трое!

Громыкнула автоматная очередь. Мальчуган и двое, что успели проскочить в развалины, обернулись. Они увидели, как падал третий: широко раскинув руки, цепляясь за острые серые камни. Будто загоразживал пролом, прикрывая собой товарищей.

А спасенные бегут за своим маленьким спасителем, перепрыгивая через груды кирпичей, задыхаясь от поднятой ими же известковой пыли. Остановиться бы, передохнуть, но мальчуган, словно юркая ящерица, скользит по одному ему известным переходам. Отставать нельзя.

Маленькая фигурка мелькнула в проеме окна и, будто наткнувшись на невидимое препятствие, отскочила назад: немцы! Как по команде, припали они к груде битого кирпича, оглушенные стуком собственных сердец.

Немецкий патруль не заметил их, но рисковать жизнью спасенных им людей Коля уже не решался.

— Придется подождать до темноты, — сказал он, вытирая выступившие на лбу капли пота. — Ветра здесь нет, а поесть я вам принесу. Только никуда не уходите!

— Есть, товарищ главный, — заулыбались командиры, еще не веря, что они на свободе. — Тебя как звать-то?

— Колей меня звать. Фамилия — Петренко. Мы тут близко живем. — И добавил, подумав: — Пионер я, так что вы не бойтесь.

Сразу посерьезнев, капитан Георгий Матвеев и старший лейтенант Александр Майгуров крепко пожали руку своему спасителю, поклялись, что будут ждать его здесь до самой ночи.

Но Коля явился через полчаса, с полными карманами горячих картофелин, и, сказав, что скоро вернется, помчался разыскивать свои санки.

Вечером сырая, холодная яма приняла еще двоих. Впрочем, скоро и они — как Федор Студнев, Виктор Татарин, Петр Уткин и другие — стали желанными гостями в домах Петренко, Паневкиных, Куделиных, Ковтунов. Отогревались, меняли повязки, мылись. Внушительная фигура полицейского, появляющаяся в воротах во время патрульного обхода, служила настоящей охранной грамотой и для спасенных, и для их спасителей. Но самому Григорию Базыкину было неуютно от этого подлого звания. Мало утешала его мысль, что желтую повязку носит он ради спасения не только собственной жизни, но и многих других. Его смущал и тревожил пристальный взгляд Нины, той самой девушки, которую обещал ему в жены Александр Семенович. Правду сказал тогда бородач — красивая у него дочка. Да разве только в красоте дело? Сердце у нее золотое. За то и полюбил. Да только как об этом скажешь? Время ли сейчас?

Григорий решил ждать. Войдут наши в Ростов, доложит он все, как было, товарищи подтвердят.

Доверят ему оружие. И тогда, с фронта, напишет он девушке те слова, которые не может сказать сегодня. Коль согласна будет — как придет с войны, так и поженятся.

Но получилось совсем по-другому, быстро и неожиданно. В один из промозглых дней начала февраля, когда город жил надеждой на скорое освобождение, обитатели двора вздрогнули от резкого стука в ворота. Григорий, случайно оказавшийся дома в это неурочное время, на ходу сорвал с вешалки куртку, выскочил во двор. Отпирая ворота, приосанился и стал так, чтобы полицейская повязка на его рукаве бросилась в глаза вошедшим. Но те будто и не заметили ее. Грубо оттолкнув Григория, немец в сопровождении трех полицаев направился прямо через двор, в левый его угол. К Пономаренко.

Базыкин облегченно вздохнул: дома только Нина и ее мать, жена Александра Семеновича. Зайди они сейчас в любой

другой дом — быть беде. Шагая следом за непрошеными гостями, он покосился на окна соседей. Они были плотно задернуты шторами. За каждой — Григорий знал совершенно точно — замерли беглецы. Надо задержать этот странный патруль хотя бы на три-четыре минуты — чтобы люди успели проскользнуть в сарай и укрыться в яме. Надо что-то срочно придумать...

Но времени на размышления не было. Единственный выход — задержать их в доме Пономаренко.

Еще не зная, как это ему удастся, Григорий вошел в комнату. И замер, увидев, как по лицу стоявшей перед гитлеровцем девушки разливается смертельная бледность. Как же он мог забыть — формируется очередной эшелон молодежи для отправки в Германию. Они пришли за Ниной!

— Собирайся, быстро! — кричал полицейай.

— Шнель, шнель, — подгонял немец.

Но девушка не могла двинуться, она смотрела на них полными ужаса глазами, будто не понимая, зачем они пришли.

И тут, браво щелкнув каблуками, перед немцем вытянулся Григорий:

— Это моя жена. С вашего позволения...

— Жена? — неохотно перевел взгляд на Григория гитлеровец. — Карош. Дафай биржа документ — как это по-русски? — брак...

В тот же вечер, к величайшему изумлению всех обитателей двора, не исключая и жениха с невестой, во дворе играли свадьбу.

«Нашли чем заниматься, — возмущался про себя Коля Петренко. — Тут война, а они женятся! Сроду их не поймешь, этих взрослых». Очень было ему досадно, что из-за этой самой свадьбы беглецам придется целые сутки невылазно сидеть в сырой, холодной яме, слушать пьяный ор полицейав — без них ведь не обойдется!

XIII



Двор Кизимов казался вымершим. Безмолвно высились в глубине его темные руины, надежно скрывавшие подвал с беглецами; болтались на скрипучих петлях створки ворот, нарочно распахнутых, — заходите, дескать, смотрите: ничего здесь нет, кроме нищеты да запустения.

На самом же деле в этом тихом дворе шла напряженная, ежечасная борьба за жизнь. Подвал был переполнен, и у Марии Ивановны и ее дочери хлопот было столько, что сразу не расскажешь. Вот почему так удивилась девочка, когда, проснувшись утром, увидела мать, недвижно сидящую за столом. В комнате было холодно и от этого так неуютно, что не хотелось вылезать из-под одеяла.

— Мам, ты чего?

— Ничего, дочка, отдыхаю. Дело я тут одно провернула. О господи прости мою душу грешную — сроду воровством не занималась... Понимаешь, — подсела она к изумленной девочке, — иду это я мимо немецкой столовки, глядь — у крыльца бочонок такой пузатенький. Я его легонько так и

подтолкни. Он — на бок и покатился. Прямо к нашему дому. Сам, понимаешь?

— Понимаю, — засмеялась Валя. — И на горку сам, и во двор сам...

— Сам, — серьезно подтвердила Мария Ивановна и расхохоталась. — Такой умный бочонок. Только вот во дворе в яму свалился. Слышу — хруп. Я вниз, а там лужа томатная. На руки его да домой скорее. Шарф-то мой, глянь, какой красивый стал да вкусный! Поднимайся-ка, доченька, да отнеси в подвал кастрюльку с этим лакомством, пока я тут чего-нибудь посущественнее не соображу. Да скажи дяде Мите, чтоб белье грязное передал, стирать буду сегодня. Все поняла?

Через несколько минут Валя, одетая в неуклюжее мальчишечье пальто, зорко оглядевшись по сторонам, юркнула в развалины.

— Дядя Митя, — громким шепотом позвала она одного из обитателей подвала. — Смотрите-ка, что я вам принесла!

Климов подбежал к лазу и, передав товарищу кастрюлю с томатом, подхватил Валю.

— Ах ты, солнышко наше, знала бы, как мы тут все тебя ждем! Что там, на воле?

— Наши к Ростову подходят! Вот что!

— Скорей бы!

— Как фашистов прогонят, я враз за вами прибегу, хоть ночью, — откликнулась девочка.

— У меня тоже дочка есть, — грустно улыбнулся Климов. — Тамарой звать. Такая же глазастая, как ты. После войны в гости к нам приедешь?

— Обязательно. А сейчас мамка велела грязное белье собрать — она стирать будет.

— Золотая у тебя мамка, так ей и передай. — Дмитрий обернулся к товарищам: — Давайте-ка быстро всё в узел, я сам отнесу.

— Что ты, дядя Митя, — встревоженно заговорила Валя. — Мамка велела, чтоб я...

— Ты что удумал, Дмитрий? — подошел к Климову молодой белокурый парень со шрамом через все лицо.

— Я скоро, ребята. Нельзя, чтоб малышка такой узел тащила. Да и муку передать надо, а там тоже с полпуда наберется. Вы не бойтесь, я ведь старый разведчик! Глянь-ка, Валюха, тихо там?

— Тихо, — доложила Валя, обернувшись меньше чем за минуту.

Для старого разведчика и в самом деле не было большого труда пересечь двор, но Мария Ивановна такой самодеятельности не одобрила: ночью куда ни шло, а при ясном солнышке — такого чтоб больше не было! И она тщательно заперла дверь.

— Виноват, исправлюсь, — смеялся Дмитрий, очень довольный, что хоть на минутку вырвался из подвала.

— Пойми, Митя, — внушала ему Мария Ивановна, — сейчас тихо, а через минуту...

А через минуту входная дверь дрогнула от ударов. Дмитрий проворно вскочил с лавки, на которую было присел, и стал торопливо засовывать под нее узел с бельем. Мария Ивановна, натягивая куртку, сунула Дмитрию свой старый плащ, шепнув:

— А ну, натягивай! Сверху шарфом закутайся, побыстрее! Ты, дочка, под одеяло. Спишь будто. Сейчас! — громко крикнула она в дверь и стала нарочито долго возиться с запором.

Когда же наконец крючок был сброшен и дверь широко распахнулась, Мария Ивановна, заняв весь проем и не обращая никакого внимания на немцев, невольно отступивших в глубь коридора, закричала истошно:

— Швестер кранк^[7], сестра зер кранк! Зараза, тиф! Больница, ферштейн^[8]? Тиф...

Немцы опешили от неожиданности, а увидев, что хозяйка тащит за руку сгорбленную, видимо, очень старую женщину, лицо которой со зловещими красными пятнами укутано шарфом, обгоняя друг друга, кинулись прочь со двора.

— Ой, не могу! Ой, умираю! — кричала вслед им женщина, перегнувшись от хохота. — Ой, напугала, сердечных, теперь они этот двор за две улицы обходить будут. Садись, Дмитрий, теперь бояться нечего. На-ка вот, поешь в тепле, пока я ведра наполню.

Мария Ивановна загрохотала ведрами, Дмитрий уселся за стол, Валя тихо улыбалась под одеялом. Вот какая у нее мама — всех фашистов насмерть перепугала! Скорее бы папа с фронта приехал, вместе б посмеялись...

До войны дом Кизимов не запирался ни днем ни ночью: жуликам в нем делать было нечего, а от честных людей кто же запирается? Но сейчас двери лучше было держать на запоре. И Валя, укладываясь спать, не забывала спросить:

— Мам, а ты на крючок заложились?

— Заложились, доченька, спи спокойно.

Но, перед тем как лечь, обязательно подходила к дверям — еще раз убедиться, что запорты, поправить мешковину у порога, чтоб не так выдувало тепло.

Однажды, подойдя к двери, Мария Ивановна услышала шорох — будто кто-то шарит с той стороны в поисках ручки. Спросила тихо:

— Кто там?

— Тетя Маруся, это я — Саша Дьячков, племянник твой.

— Господи, Сашенька! Откуда ты?

Наверное, женщина упала бы, не подхвати ее Саша. Он обнял Марию Ивановну, поцеловал в мокрые от слез глаза, бережно посадил на стул.

Знакомая комната с черными тенями в углах поразила его необычным простором, тишиной. Он подхватил на руки несмело шагнувшую к нему Валю.

— Валюша, выросла-то как! Ну, здравствуй, ты меня что — не узнаешь?

— Узнаю — ты мой дядя, который пропал.

— Никуда я не пропал, вот он я. Это у вас куда-то все подевались. Где Коля?

Девочка со страхом обернулась на мать и сказала тихо:

— Нету Коли. Убили его. И Витю, и Ваню, и Игорька... И папу Витинового, и Игоречкина, и Ваниного... И других тоже...

Саша растерянно оглянулся на Марию Ивановну. Та, закрыв лицо ладонями, горько плакала.

Забыв про голод и смертельную усталость, слушал потрясенный юноша сбивчивый рассказ о том, что случилось на Ульяновской знойным июльским днем сорок второго года. Слушал и не мог поверить, что нет больше на земле мальчишек, таких дорогих его сердцу. А они-то с Яшкой считали их все это время живыми!

— Вы-то как нее теперь? Как Ольга Федоровна, Нина? — с тревогой спросил Саша.

— Каменной стала Ольга Федоровна. Одна у нее теперь забота — Нина. Прячет ее. Мы и то не видим. Да оно надежней, когда с глаз подальше... Ой, да тебя ж накормить надо — худющий какой стал, одни глаза.

Утирая на ходу слезы, Мария Ивановна кинулась к не остывшей еще плите, загремела кастрюльками.

— Не надо, тетя Маруся, я домой пойду. Как мама?

— Живая мама, здоровая. А ночью нечего ходить. Утром я сама ее приведу, тогда и решим, что с тобой делать. Поешь и спать ложись. Места у нас теперь много...

Через несколько минут Саша крепко спал, разметавшись на теплой постели. А когда утром открыл глаза, увидел склоненное над ним лицо матери. Из ее сияющих глаз текли счастливые слезы.

— Сыночек мой, живехонький. Как же ты добрался-то сюда? Может, лучше бы не приходиться тебе, пока фашисты тут?

— Не сам я пришел, мама. Привели меня.

* * *

Сначала все шло, как по нотам. Саша и двое его товарищей, посланные за языком, подползли к немецким траншеям, когда до Нового года оставалось несколько минут. Как они и предполагали, фашисты, даже те, кто находился в охране, больше думали о новогодних торжествах, чем о советских разведчиках. В конце концов русские Иваны тоже люди, а кому не хочется по-человечески встретить Новый год!

Один за другим скрывались они в траншее, ведущей к блиндажу. Наконец движение прекратилось. И тогда, неслышные и невидимые в своих масках, скатились вниз разведчики. Они подползли к самому входу в блиндаж, замерли в ожидании.

Но ровно в полночь, какую-то минуту спустя после того как сквозь толстую дощатую дверь проник восторженный рев фашистов, приветствовавших наступление нового, 1943, года, на них, на всех троих сразу, обрушилось что-то тяжелое, живое. От тупого удара по голове Саша потерял сознание, а когда мысли его прояснились, понял: случилось самое страшное — плен.

До самого утра лежали они в углу блиндажа, крепко перетянутые веревками. Потом их развязали, швырнули в крытую машину и куда-то повезли. Ветер бил в обледеневший туго натянутый брезент, при сильных порывах машина мелко дрожала, будто ее бил озноб. Дрожь отдавалась в каждой клеточке Сашиного тела, как в детстве, когда его била малярия. Руки и ноги коченели, мысли туманились, смерть уже не казалась страшной. Даже наоборот — замерз, и никакого тебе плена!

Но машина вдруг резко затормозила, брезентовый полог раздвинулся, и, понукаемые конвойными, они с трудом выбрались наружу.

На фоне ярко-белого снега чернели какие-то строения, похожие на коровники. Подгоняемый прикладом, Саша переступил порог одного из них. Это и в самом деле был коровник, только вместо коров битком набитый людьми. Худыми, оборванными, обреченными на скорую смерть.

Утром их построили в колонну и приказали идти. Самые слабые погибли в первые же дни пути. Сильные шли. Восточный ветер хоть и продувал насквозь, но помогал идти. Западный бил в лицо. К тому же приносил с собой оттепель, и тогда дорога превращалась в месиво, идти было труднее. Если бы они не помогали друг другу, никто, наверное, не дошел бы до конца пути.

Впрочем, кто знает, куда они шли. Саша и трое его товарищей по колонне могли только догадываться: на Ростов.

Неужели их поведут через город? У него, у Саши, разорвется сердце, едва они поднимутся на мост: оттуда, с моста, виден его дом!

— Я же ростовчанин, братцы!

Товарищи горестно покачивали головами, жалея самого юного из них. Прикидывали, чем помочь.

— У тебя кто в Ростове-то? — спрашивали они.

— Мать, — отвечал Саша. — Она у меня веселая, песни любит. Отец до войны в милиции служил. Работа трудная, придет — ни до чего. А мать подсядет к нему, руку ему на плечо положит и тихо так запоеет. Я смотрю: только что неживой был — уже улыбается... На фронт ушел в первые дни. Жив, нет ли...

— И невеста есть?

Саша смущенно покачал головой. И вдруг — как мираж — возникла среди ледяной пустыни знакомая улица. Колышущиеся

на тротуаре резные тени, голубоглазая девушка, в светлых волосах которой запутался золотой солнечный зайчик...

И пришел день, когда на горизонте вздыбился крутой правый берег Дона.

— Вот что, Сашок, — заметив волнение парня, наклонился к нему старший из товарищей, которого все они называли Дедом. — Случай ловить надо. Может, и удастся сбежать. Фашисты какие-то смурные стали, не так лютуют. Им эта война самим, видать, порядком приелась.

Правильно подметил Дед: хмурились их конвоиры. Да и чему радоваться? Лучшая из гитлеровских армий в котле, попытки выручить фельдмаршала Паулюса напрасны. Кто знает, чем она кончится, война с этими русскими, которые воюют против всяких правил, против самого здравого смысла. Им бы еще в первые месяцы сдать по-хорошему, а они вон какое наступление организовали!.. Может, привал лишний устроить?.. Трубы какие-то цементные вдоль дороги, присесть можно. Все не голая земля.

— Привал!

Труб было несколько, метров двадцать длиной каждая, сечением сантиметров шестьдесят. От покрытой изморозью поверхности веяло холодом, но разгоряченных быстрым маршем людей это не пугало. Они облепили трубы со всех сторон, стараясь устроиться поудобнее. Саша и его товарищи расположились у конца трубы.

— Вот что, Сашок, — сказал Дед, — забирайся в трубу и сиди. Мы тебя прикроем. Как уйдем, вылазь и дуй в свой Ростов. Темнеет рано, до комендантского часа доберешься домой.

— А вы? Тут же все четверо поместимся.

— А мы пойдем дальше. Нельзя четверым. Даже двоим нельзя — заметят. Один — и тот рискует. Но риск, как говорится, благородное дело.

— Спасибо вам, — сказал Саша.

Они ушли, а он, боясь верить в свое счастье, выбрался из трубы и пошел напрямик к реке, радуясь, что все левобережье покрыто кустарником или лесом.

Было совсем темно, когда Саша перешел по льду Дон и поднялся на правый берег. Вокруг чернели развалины, и идти по ним в кромешной тьме было опасно, потому-то он и поднялся на Ульяновскую.

— Вот что, Надя, — сказала сестре Мария Ивановна, — давай-ка я упрячу Сашу в надежное местечко.

— Спасибо, Машенька, только я и сама отыщу ему место, так устрою, что прятаться ему не надо будет, никто не придерется. Пойду завтра к коменданту и попрошу его оформить на работу. Базар подметать.

— Ты что, мать! — возмутился Саша.

— Подметать буду я, не беспокойся. Тебе лишь документы нужны, чтоб ни в какую Германию не отправили.

— Как это — в Германию? — не понял Саша.

— А так, сыночек, врываются в дом полицаи с немцами, хватают молодежь, грузят их, как скот, в товарняк — и прощай, Родина! На немецкую каторгу.

Вот почему прячет Ольга Федоровна золотоволосую свою дочь! Саше нестерпимо захотелось увидеть девушку, сказать ей что-нибудь доброе. Сказать, что скоро, совсем скоро все они будут свободными! Хоть он, Сашка, так по-глупому влип, его боевые товарищи идут на запад. И нет такой силы, которая могла бы остановить их.

Юноша встал, подошел к окну и долго не мог оторвать взгляда от знакомого крыльца, от деревянных ступенек, ведущих в глубь дома. Как в волшебной сказке, томилась там за семью замками девушка, лучше которой он не встречал и никогда не встретит.

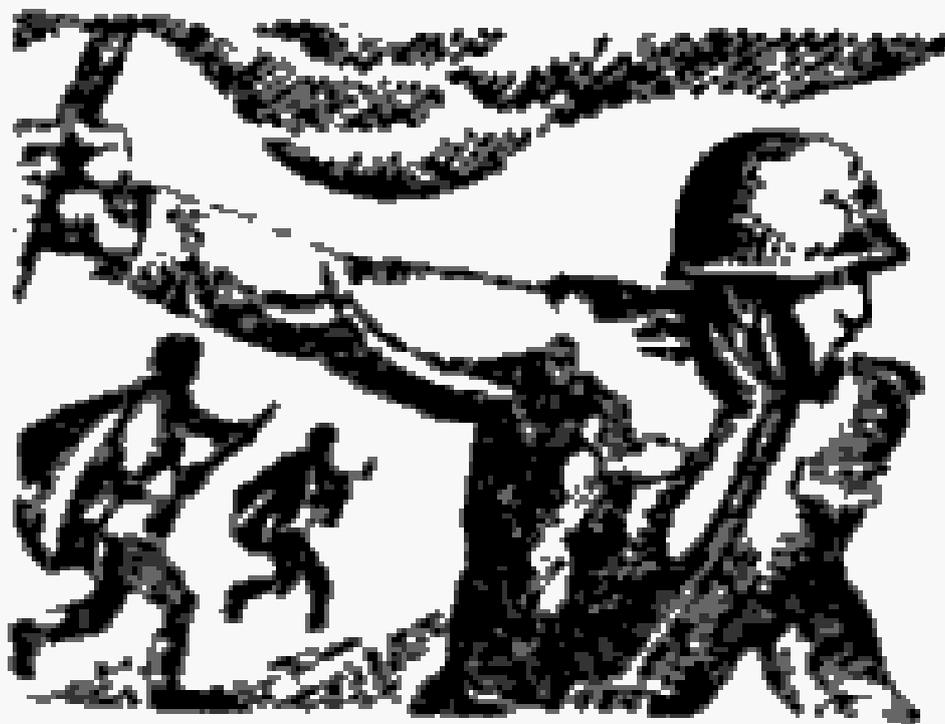
Не за семью запорами — за тысячью держала Нину Ольга Федоровна. Никто, даже самые надежные люди, не знали, где

скрывается она. Не раз вламывались в дом полицаи, обшаривали все углы, спускались в подвал.

— Куда спрятала дочку? — орал Костя, замахиваясь на женщину. Но, встретив взгляд Ольги Федоровны, гневный и презрительный, отступал, бормоча: — Смотришь, ведьма! Погоди, я до тебя доберусь...

Полицай не успел выполнить угрозу: 14 февраля 1943 года Ростов был освобожден. Теперь уже навсегда.

XIV



Страшно подумать: я пишу эти строки больше сорока лет спустя. И благодарю человеческую память. Ту, что помогла сохранить в сердце благодарные слезы ростовчан, неумную, перемешанную с горечью, нашу радость, когда город стал наконец свободным от фашистской нечисти. Казалось, они неизлечимы — нанесенные городу и людям смертельные раны. Но, хотя далек был еще тот августовский день, когда ворвется на

таганрогские улицы рота гвардии капитана Куцепина и фронт наконец отодвинется от стен многострадального Ростова, жизнь — свободная, созидательная — уже кипела на его улицах, в разрушенных заводских цехах, в людских душах.

Враги мстили за свое поражение, сбрасывая бомбы на переправы, на мирных жителей, на нашу 44-ю автобронетанковую мастерскую, расположившуюся со своими «летучками» среди полуразрушенных корпусов бывшего автосборочного завода. Но все чаще и чаще устремлялись навстречу фашистским бомбардировщикам советские истребители, и тысячи глаз были свидетелями смертельных поединков. Через много лет именами защитников донского неба назовут улицы города. Так прошлое переплетается с будущим...

Знать бы мне тогда, что суждено дойти до Победы, что жизнь, многогранная и многоликая, забросит меня в город, уже залечивший свои раны, под небо, которого не надо будет страшиться, отпросилась бы у командира на целый день.

Я пришла бы на Ульяновскую улицу, чтобы поклониться простым, сердечным людям, пока все они живы. Обняла бы своих сверстников: Нину Нейгоф и Сашу Дьячкова, которые навечно останутся молодыми, потому что погибнут в свои неполные восемнадцать лет. Маленькой увидела бы я Валентину Антоновну Кизим. Смогла бы посмотреть, как прощаются с Колей Петренко спасенные им командиры. Проводила бы в действующую армию Александра Семеновича Пономаренко, его дочь Нину и зятя Григория. Пожала бы крепко руки Нине Пилипейко и Ане Зятевой, которые тоже решили идти на фронт. Все они будут воевать, не жалея сил, и вернуться на родную Ульяновскую.

Обязательно побывала бы я на многолюдном собрании, посвященном памяти погибших детей Ростова-на-Дону. Вместе со всеми плакала бы, слушая рассказ-рыдание Марии Ивановны Кизим о дорогих ее сердцу мальчишках.

Судорога сжимала ей горло, прерывая речь, горячие слезы застилали глаза, когда рассказывала она о трагедии, разыгравшейся на Ульяновской улице.

— Я прошу отправить меня на фронт, — обратилась она в президиум. — Сама, своими руками буду мстить фашистам за расстрелянных детей!

Однако подорванное в фашистских застенках здоровье не позволило ей встать в ряды армии.

— Не горюй, мать, — сказали ей в областном комитете партии, — оружие бывает разное. В твоих руках — одно из самых сильных. Расскажи людям всего тихого Дона, как были оборваны фашистскими пулями детские жизни. Призывай их все свои силы отдать делу Победы. Победы над злейшим врагом человечества — фашизмом.

* * *

Нелегкий разговор состоялся в тот день в маленькой семье Нейгоф.

— Прости меня, мама, — говорила Нина. — Прости и пойми: я не могу иначе. Над могилой самых дорогих мне людей дала я клятву мести. Пришел час выполнить ее. Я сама должна отомстить фашистам за то горе, которое они принесли в нашу семью. На нашу землю. Обещаю тебе, мама: я вернусь.

Нина замолчала. И тогда поднялась Ольга Федоровна. Подошла к дочери, как две капли воды похожей на своего отца, обняла за тонкие плечи. «Совсем еще девочка», — с болью подумала она.

И в этот миг раздался легкий стук в дверь.

— Саша? — удивилась и обрадовалась Нина. — Ты разве дома?

— Так получилось, Нина. А теперь ухожу. Проститься зашел.

Легкий румянец осветил бледное лицо девушки, тонкие красиво очерченные губы тронула чуть заметная улыбка, холодную напряженность взгляда растопила нежная голубизна.

У Саши перехватило горло, голос дрогнул, стал хриплым:

— Я буду писать тебе, можно?

— Куда? — спросила девушка. — Я ведь еще не знаю номера своей полевой почты...

Комсомолка Нина Нейгоф стала бойцом партизанского отряда, которым командовал Михаил Михайлович Трифонов-Югов. Того самого отряда, бойцы которого вели борьбу с фашистами в оккупированном Ростове, вселяя в сердца людей веру в освобождение. Во время боев за город юговцы вышли из подполья и, помогая Советской Армии, вели открытый бой у разъезда Западный. После освобождения города поредевший отряд решено было пополнить новыми бойцами и подготовить для подпольной борьбы в оккупированных пока еще районах Украины.

Нина была счастлива, что будет воевать рядом с теми, кто прошел суровую школу подполья, с бойцами, закаленными в боях. Вместе с ней в отряд вступили комсомолки Лида Акимова и Альфа Ширази. С Альфой Нина была знакома: с первого класса они учились в одной школе, обе успели закончить только девять классов.

Каждое утро девушки уходили на занятия. Изучали санитарное дело, рацию, оружие, учились обращаться со взрывчаткой. Однажды Нину подкараулила у ворот Валя Кизим.

— Ты куда каждый день ходишь? — спросила она строго, без тени улыбки.

— На работу, — ответила девушка.

— А ты давала клятву мстить, — напомнила Валя. — Или забыла?

— Нет, девочка моя, я ничего не забыла.

— Тогда пойдём.

— Куда? — удивилась Нина.

— Что ли не знаешь? В военкомат. Чтоб послали на фронт. И тебя, и меня. Ты ведь обещала! Мстить за братишек.

— Мстят не только на фронте, мстят и в тылу, — пыталась остановить ее девушка.

— Нет, — решительно сказала Валя. — Мстят только на фронте. Ты обещала меня взять. Если боишься, я пойду сама.

Кулачки у нее сжались, глаза стали жесткими, гневными.

Нина сказала тихо:

— Мстят и в тылу. Потому что тыл бывает разный. Ты слыхала про партизан? Они воюют в тылу врага, называются народными мстителями. Понимаешь?

— Понимаю, — сказала Валя. — Ты ведь всегда понятно объясняешь. А когда мы пойдем в этот тыл?

— Подожди — узнаешь.

— А сколько надо ждать? — подозрительно посмотрела на Нину девочка. — Когда война кончится?

— До завтра подождать согласна?

— До завтра согласна, — кивнула Валя.

В тот же день Нина подошла к своему командиру, долго и убежденно говорила ему что-то, а наутро привела с собой большеглазую девочку.

— Вы научите меня стрелять? — спросила та командира.

— Нет, — едва сдержав улыбку, ответил Югов. — У тебя будет другое оружие. Дырявое платье и нищенская котомка. Послушай меня внимательно, постарайся все понять...

И девочка поняла, потому что командиры, оказывается, могут объяснять так же понятно, как Нина.

Под видом маленькой нищенки она будет бродить по дорогам, заходить на железнодорожные станции, в селения и хутора. Просить Христа ради хлеба, потому что иначе никто не поверит, что ты нищая. Если далеко зайдешь, то и в самом деле просить надо, а то умрешь с голодухи.

Но главное не это. Главное — все запомнить про немцев. Что, где, сколько — потому что по правде она не нищенка, а партизанская разведчица. Ей теперь ого сколько надо всего знать! И виды немецкого вооружения, и знаки различия, а то еще попутаешь полковника с генералом, артиллеристов со связистами. Немецкие буквы знать надо, а то и указатель не прочтешь. Еще заблудишься... Нужно быть смелой и находчивой, не хныкать, если устанешь или сильно захочется есть. И, наоборот, заплакать, если не хочется, а надо. Чтоб обмануть полицаев, например.

* * *

А война все шла. Она не докатилась еще и до своей половины. Больницы, клиники, госпитали, которые чаще всего размещались по школам, были переполнены, и самыми первыми помощниками медицинских работников были девочки и мальчики. Вот почему так редко можно было видеть на улицах города беспечно играющих детей. До лучших времен были отложены мячи, у кого они случайно сохранились, забыты скакалки и «классики» — с утра до вечера ребята пропадали в госпиталях.

В заправскую сиделку превратилась Валя Пронина. Кормила с ложечки тех, кто не мог двинуть ни рукой, ни головой, писала под диктовку письма, убирала в палатах, а уходя домой, захватывала узел грязного белья. Ночами вместе с мамой стирала его, гладила, штопала. А в глазах стояли раненые — кто без рук, кто без ног, кто без рук и без ног сразу. И все-таки это были живые люди. Их ждали дома. А она, Валя Пронина, уже не дождетя ни отца, ни брата — оба они пали смертью храбрых. Писем с фронта уже не ждут ни она, ни мама ее, Мария Андреевна.

Другие ждут. Получив, вздыхают: когда писано-то, месяц назад! Очень уж долго петляют наспех сложенные треугольнички по фронтовым дорогам. Вот похоронки задерживаются реже. Случалось, откричат всем двором по солдатику, а через неделю письмо от него. И снова крик — будто второй раз хоронят. Кажется, уж и взяты им неоткуда, слезам, а они все льются да льются.

Марии Ивановне и сестре ее Надежде Ивановне похоронки пришли в один день. Освобождая родную Украину, пал смертью храбрых Антон Никанорович Кизим. При прорыве сильно укрепленной линии Миус-фронта погиб сержант Александр Дьячков. Не выполнил наказа своего любимого учителя — не вернулся живым.

В тот вечер прибежала к Нине Валя, обхватила ее руками, захлебнулась в крике:

— И папа! И Саша!..

Нина обняла ее, успокоила, и девочка заснула на ее руках, залитая слезами и вздрагивающая всем своим маленьким тельцем. Девушка сидела недвижно, словно изваяние. Думала о юноше, которого даже не обняла на прощание, а ведь он уходил на войну, и она хорошо знала, что с нее не все возвращаются. Думала о себе, о своих боевых товарищах, уже готовых выполнить любой приказ Родины. О смерти, не щадящей ни детей ни взрослых, ни добрых ни злых, ни даже таких светлых, каким был Саша. Думала о девочке, которая судорожно всхлипывала во сне, о женщине, потерявшей все, кроме этого ребенка. Нет, она не допустит, чтобы погиб этот светлый маленький человечек, завтра же поговорит с Юговым...

А через несколько дней, поздно вечером, когда Валя уже крепко спала, Нина пришла к Марии Ивановне:

— Тетя Маруся, послушайте меня внимательно...

Гасла вечерняя заря последнего майского дня сорок третьего года, когда на дороге, ведущей к аэродрому, показалась полуторка. Вдоль бортов сидели бойцы партизанского отряда, которым командовал Югов: десантники отправлялись на задание. У кабины, лицом к ветру, стояла девочка с темными развевающимися волосами. Командир, который сидел тут же, в кузове, с тревогой посматривал то на нее, то, вопросительно, на Нину. Та отвечала спокойным, уверенным взглядом: все будет хорошо.

До аэродрома оставалось метров пятьсот, когда навстречу машине, широко раскинув руки, бросилась женщина.

Скрипнули тормоза. От резкой остановки девочка распласталась на кабине. Югов подхватил ее под мышки и, перегнувшись через борт, опустил в протянутые навстречу руки.

Поняв, что произошло, Валя рванулась из материнских объятий, закричала, забилась в руках, которые на этот раз показались ей железными.

— Детонька моя родная, что же ты задумала? — запричитала Мария Ивановна. — Куда ты собралась-то? А я как же? Одна ведь ты у меня, да махонькая такая...

Они плакали и кричали вместе. Никто не обращал на них внимания: раз плачут люди — значит, есть у них на то причина. Да и плохо ли, когда плачут? Без слез хуже. Без слез душа окаменеть может.

До глубокой ночи не могла успокоиться юная разведчица, все допытывалась:

— Ты откуда узнала, что мы сегодня едем?

— Сердце мне подсказало, доченька, — пыталась уверить дочку Мария Ивановна.

— Что ли так бывает? — сомневалась девочка.

— Бывает, поверь мне, пожалуйста...

И она поверила, потому что не могла же Нина выдать военную тайну.

Валя уснула глубокой ночью, прижавшись к матери, которая мысленно поклялась не спускать глаз со своего тихого чада. Под ровное дыхание дочки она сама стала забываться тяжелым, беспокойным сном.

И вдруг проснулась от крика.

— Нина, Нина! — громко кричала Валя и рвалась куда-то, не в силах выкарабкаться из цепких лап предрассветного сна. Может, почуяло ее сердечко смертельную беду, нависшую над белокурой девушкой, которую она так любила...

И которую не увидит ни живой, ни мертвой.

* * *

Приземлившись, юговцы благополучно собрались в лесополосе, закопали парашюты, разбрелись в стороны — надо было найти тюк с оружием и питанием для рации. А он как сквозь землю провалился. Решили подождать рассвета. Но едва засветилось на востоке небо, белое пятно парашюта, распластавшегося на открытом, обращенном к селению склоне холма, бросилось в глаза местным жителям, которые спешили до жары управиться с огородами. Они подошли к нему, посоветавшись, обрезали стропы, поделили между собой шелковое полотнище. Поистине — счастье с неба упало! Сколько ребятишкам рубах пошить можно. Пообносились за войну-то...

Тюк трогать побоялись — пусть лежит, как лежал. Спрятав куски парашюта под рубашкой, они повернули домой. Но на окраине родной Павловки, что в Марьинском районе Сталинской области, были остановлены полицаями и обысканы.

— Где взяли? — тыча им в лицо куски шелковой ткани, спрашивали немецкие холуи.

— Там, — пожимая плечами отвечали люди и показывали на бугор, где, освещенный первыми лучами солнца, лежал тюк.

Размещенный в Павловке немецкий гарнизон был поднят по тревоге. Узкая полевая защитная полоска леса не смогла надлежно укрыть партизан. Они были обнаружены. Шесть часов длился неравный бой горстки юговцев с фашистским гарнизоном.

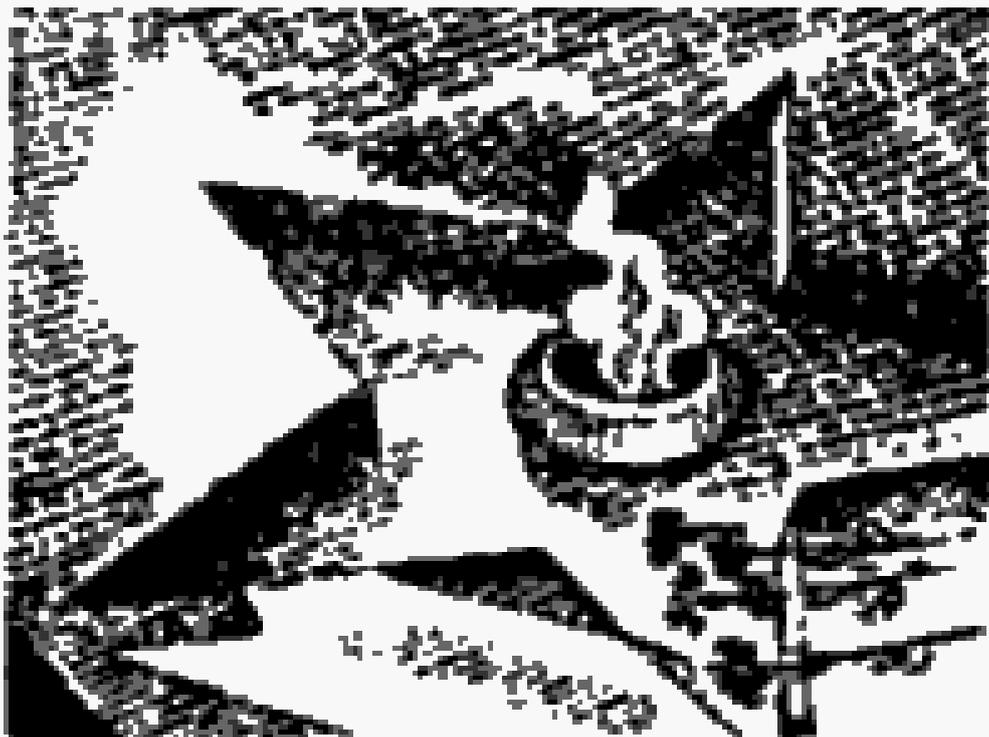
*Шли тринадцать
в последний бой.
Шел в бессмертье отряд.
Шел Югов.
Нет, никто
не вернулся домой
Рассказать о подвиге друга.
Объяснить,
Почему в тот вечер
В облаках
Окровавленной пыли
Мчался в степь
Обезумевший ветер
И багровыми
Зори были.
...Груды стреляных гильз в траве.
Кровь и кровь —
Ее время не смоем.
Опаленной листвою лес
Молча падает на героев...*

В день, когда центральные газеты опубликуют Указ Верховного Совета СССР о награждении бойцов юговского отряда (посмертно), долго и неподвижно будет сидеть за столом темноволосая девочка с не по-детски серьезными глазами. Бережно возьмет она фотографию, извлеченную из земли 14 февраля 1943 года, и напишет на обороте:

«Было до бомбежки, до войны. Теперь никого нет, кроме меня».

Потом она подойдет к зеркалу, посмотрит на себя, на живую, и горько заплачет...

Заключение



Природа наделила людей разумом и памятью. Каждое поколение на земле оставляет тем, что приходят следом, все лучшее, что было в его жизни.

Она должна быть вечно живой — память Прошлого. Память, которая заставляет пионеров строиться в колонны знойным июльским днем и двигаться по направлению к Ульяновской улице. Они, ребята из городских и пригородных лагерей, идут к мемориальной доске, чтобы почтить память своих далеких сверстников.

Кладут цветы, пламенные, как призывы к миру. Яркие и трепетные, как память о детях, чьи имена золотом вписаны в летопись народного подвига.

Как затаенный стон — Минута Молчания.

Как клятва — слова о верности Отчизне.

А вокруг люди. Седые, в морщинах. Люди, видевшие войну собственными глазами. Среди них Валентина Антоновна Кизим со своими детьми Александром и Мариной, с внуками и учениками.

Оглянитесь — они смотрят на вас. В вас видят они продолжение мужества. В ваших глазах, смелых и честных, в ваших поступках — мужественных и благородных.

Не обманите их ожиданий.

Растите достойными светлой памяти тех, кто жизнью и гордой смертью своей приблизил час Великой Победы.

Будьте готовы к защите мира, столь щедро оплаченного слезами и кровью.

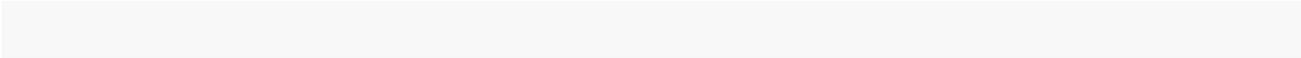
Чтобы жила на земле Радость.

Чтобы всегда развевались на вашей груди алые галстуки — частица великого знамени.

notes

Примечания

- 1 Выходи! *(нем.)*
- 2 Быстро, быстро! *(нем.)*
- 3 Иди быстро! *(нем.)*
- 4 Назад! *(нем.)*
- 5 Хорошо! *(нем.)*
- 6 Дитя! *(нем.)*
- 7 Больная *(нем.)*
- 8 Понятно? *(нем.)*



Антонина Мироновна ЛЕНКОВА

ЭТО БЫЛО НА УЛЬЯНОВСКОЙ

Документальная повесть

Рецензент А. А. Коркищенко

Редактор В. В. Безбожный

Оформление Э. С. Бобрешова

Художественный редактор В. С. Тер-Вартанян

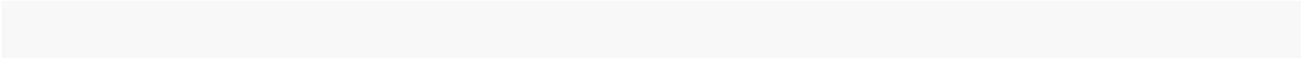
Технический редактор Л. М. Криволапова

Корректор Е. Е. Агафонова

ИБ № 1533

Сдано в набор 14.05.85. Подписано к печати 27.07.85. ПК 15 545. Формат 84x100/32. Бум. тип. № 1. Гарнитура школьная. Высокая печать. Усл. п. л. 6,24. Уч.-изд. л. 6,29 128 с. Тираж 15 000. Заказ № 100. Цена 20 коп.

Ростовское книжное издательство. 344 706, Ростов-на-Дону, Красноармейская, 23. Типография имени М. И. Калинина Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 344 081, Ростов-на-Дону, 1-я Советская, 57.



Антонина Мироновна ЛЕНКОВА

ЭТО БЫЛО НА УЛЬЯНОВСКОЙ

Документальная повесть



**Ростовское книжное издательство
1985 г.**